

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



Владимир Крупин

ЖИВАЯ ВОДА



Владимир Николаевич Крупин

Живая вода

Серия «Школьная библиотека (Детская литература)»

Текст книги предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=7988077

Живая вода [вступ. ст. В. Распутина]: Дет. лит.; Москва; 2011

ISBN 978-5-08-004000-2

Аннотация

В книгу известного писателя вошли повести «Живая вода», «Люби меня, как я тебя» и рассказы о Родине, о детстве, о нашей современности.

Для старшего школьного возраста.

Содержание

Слово о писателе	6
Повести	9
Живая вода	9
Конец ознакомительного фрагмента.	52

Владимир Николаевич Крупин
Живая вода
Повести и рассказы



Крупин В. Н.

Слово о писателе

Проза Владимира Крупина – это нечто особое в нашей литературе, нечто выдающееся и на удивление простое.

Литература – процесс живой и, как все живое, имеет не только свои законы, но и свои привычки. При всей широкоохватности прозы разных направлений и жанров, разных манер и стилей она выдержана или близка к тому, чтобы быть выдержанной в классическом духе, в некотором смысле консервативна и для раскрытия характера, обрисовки пейзажа и сюжетного движения пользуется, в сущности, одними и теми же приемами. Она описательна – в том понятии, что слово ее имеет подготовленное значение и место и ритмически и художественно существует в ровных горизонтах, без резких подъемов и понижений. Литературное, описательное слово точно сцементировано в общем ряду и малоподвижно, его магия достигается общим рядом и общим настроением. Устное слово в тех же, предположим, фольклорных записях стоит свободно – не стоит, а постоянно движется, выглядывает из ряда и имеет более самостоятельное значение.

Владимир Крупин соединил в себе обе манеры – и письменную и устную, в его прозе очень сильный рассказывательский элемент. Впечатление такое, что письмо ему дается легко: сел за стол и, рассказывая предполагаемым слушателям о том, как он ездил на свою родину или на родину друга, сам за собой записывает и едва успевает записывать события в той последовательности и подробностях, как они происходили. Но рассказывает и записывает сосредоточенно, живописно и эмоционально, не теряя за живостью и непосредственностью строгости и художественности. А это значит, что кажущаяся легкость слова на самом деле достигается непросто, в тех же мучительных поисках, как и для всякого писателя, относящегося к слову с уважением. Это значит также, что оно, слово, встав в письменный ряд и приняв его правила, каким-то образом умеет сохранить и волю ряда устного, что оно становится шире и уверенней. В художественной литературе очень важно, чтобы слово стояло радостно, опытный читатель всегда увидит эту радость от точного употребления и желанной работы – так оно чаще всего у Крупина и есть.

Расстояние между читателем и писателем в книге – вещь реальная, и зависит оно от того, с каким сердцем, остывшим или участливым и болящим, пишется книга, насколько согрета она теплом авторских затрат. Холодное, пусть и исполненное на высоком профессиональном уровне, произведение читается с душевным насилием, и это, как правило, «умственное» чтение, в нас говорит не потребность, а упрямство добраться до цели, чтобы облегченно вздохнуть над своим подвигом. В этом смысле Владимир Крупин необычайно близок к читателю, и достигается подобная близость, соседствующая с прямым общением, редкой откровенностью и открытостью, живой обращенностью к столь же заинтересованному в их общем деле человеку. Пишет ли он от первого или от третьего лица, его герой весь на виду и ничего в себе не умеет скрывать, для Владимира Крупина личность не в том, чтобы уйти в себя, а в том, чтобы бескорыстно прийти к людям.

Одно из самых известных и замечательных произведений Крупина – повесть «Живая вода». Главный герой ее – философствующий в простоте своего неизысканного ума Кирпиков. Простолюдин дальше некуда, лыком шитый, должно быть, от первого до последнего поколения, он тем не менее в поселковой среде личность заметная, во-первых, благодаря своему самостоятельному уму и, во-вторых, благодаря «форме» собственности: Кирпиков – хозяин единственного в поселке мерина. Лошадей вывели, а огороды по весне пахать надо, хочешь не хочешь, а кланяйся Кирпикову. Что же делать?

Мир опрощается в жуликоватое и мутноватое скопище. А Кирпиков честен, трудолюбив, он отвоевал Великую Отечественную, вырастил детей. «О, не одно европейское госу-

дарство разместилось бы на поле, вспаханном Кирпиковым, какой альпинист взобрался бы на стог сена и соломы, наметанный Кирпиковым, какой деревянный город можно было выстроить из бревен, им заготовленных...» Он прожил свою жизнь не просто молекулой, вошедшей в народное тело, он был выше и прожил ее личностью. Правда, личностью изгибистой, с причудами во имя самоутверждения, подобно шукшинским героям, и с приступами «русской болезни» во имя самоутешения, но как мало это «само» в сравнении с «общим», с тем, что делалось для страны и ее вечности! Но вот и старость не опоздала, дети разъехались, фронтовые доблести, как лебедой, поросли быльем, и все чаще задумывается Кирпиков о смысле жизни, о том, зачем он жил и мог ли бы мир обойтись без него? Примитивная философия, на взгляд профессоров, но ведь это неотменимо главные вопросы жизни, они тем серьезней и страшнее, чем простодушной звучат. Нет, не так наивен этот «мыслитель», в шестьдесят с лишним лет взявшийся заглядывать в старые школьные учебники и для каждого нового открытия готовящий себя причудливой аскезой. Недолго же ему представлялось, что «люди еще не доросли до моего понимания»: он ощупью, чутьем шел к осознанию истин Христовых и не мог не гордиться своими победами – наступили, однако, дни, когда пришлось убеждаться, что мир сознательно установился на основаниях непонимания.

«О, бедный Кирпиков!» – хотелось воскликнуть вслед этому герою, потерпевшему крушение в своих упованиях сначала на чудо нравственного воскрешения человека, а затем и на чудо «живой воды», хлынувшей из-под земли и способной излечить от физических и духовных недугов. «О, счастливый Кирпиков!» – можно воскликнуть сегодня, спустя два, три десятилетия после его поисков смысла жизни. Сегодня, когда все трудней отвечать на вопросы о смысле существования человечества в целом.

Но об этом, о потерях и опорах теперешней жизни, вторая повесть с нарочито обнаженным названием «Люби меня, как я тебя».

В меняющемся с возрастом человеке меняется и художник. Меняется, даже оставаясь сам собою в воззрениях и в письме. Душа иная. Ничто так точно и полно не говорит о человеке и уж тем более о писателе, как душа. В истинном творце через душу проходит каждое слово; не в чернильницу макается его перо, а в душу. Уж она-то без утайки скажет и о таланте его, и о вере, и о намерениях, с какими садится он за письменный стол, и об отношении к родной земле и родному человеку, на этой земле живущему... И то, что духовно добрал Владимир Крупин ко времени второй повести, освещает ее иным светом – прошедшим через более полную истину, чем она была у Кирпикова, но и более тревожным, ибо мир дошел до последнего бунта, направленного против себя же. Но жить по истине надо. Или уж не жить. Этот выбор перед нашей бедной и прекрасной Родиной стоит с такой неизбежностью, что порой становится страшно.

Молодой читатель этой книги найдет в ней и рассказы Владимира Крупина. Он прекрасный рассказчик, то остроумный, веселый, «вакхический», то серьезный, ведущий действие неспешно и основательно, то «документальный», для которого случай жизни, дополненный воображением, превращается в случай литературы.

Детство, юность... Детство в рассказах Владимира Крупина счастливо прежде всего кругом, составляющим родную землю, – природой, общением с «меньшими братьями», первыми трудами и заботами, первыми трудностями и постоянной радостью каждый день быть среди родного. Доброта вкладывается в душу ребенка не столько словом и напутствием, сколько окружением и обстановкой, их целостностью и крепостью – духовной и моральной крепостью семьи и физическим обережением земли. Одно дело – открывать мир, поднявшись в вырубленную рядом с деревней вековую рощу, и видеть вокруг за сведенными лесами оголенные и смещенные просторы, потерявшие тайну и притягательность, и совсем другое – мечтать о взрослости, о путешествиях и подвигах из середины заботливо сохраняемого отчего края. Потерянные дети, из которых вырастают дурные люди, привыкшие к разорению

как норме жизни, – это еще и результат дурного хозяйствования, когда прошлое и будущее не имеют ни цены, ни значения.

В поэзии детства звучит здесь серьезное, без всякого умаления, уважение к детству, воспоминание о нем как о чистых и добрых наших началах.

Юность... Больше всего в этой романтической поре, когда молодой человек захлебывается от ощущений и возможностей жизни, когда он осознает себя силой и в упоении от первой самостоятельности, – больше всего автора волнует в таком молодом человеке структура его души, лад между физическим и духовным. В юности нам является уже осуществившаяся в основных своих чертах личность. Конечно, недостаточно окрепшая и во взглядах не совсем утвердившаяся, жадно вбирающая в себя впечатления и настроения, но уже точно направленная к тому, чем ей в конце концов быть. Автор не поучает, помня, что юность не терпит поучений, но мягко и неназойливо, почти незаметно для читателя подводит к основам человеческого бытия – к отзывчивости, самоотверженности, любви к ближнему и выражению себя в открытых поступках, к постепенному осознанию конечной истины: для подлинной свободы и счастья, для утешительного существования человеку необходимо больше отдавать, чем брать. Юность во всем ищет новизны и открытий; оставляя за ней право на внешнюю, физическую новизну, расширяющую мир чувств и познания, автор опять-таки негромко напоминает, что главные открытия ждут человека в себе самом, в самопознании, в углублении своего внутреннего, духовного мира, который огромен не менее, чем мир внешний. Нет ничего трагичней и невосполнимей для каждого из нас, как пройти мимо себя, изжить себя в стороне от себя, не осуществить себя в той красоте, которая уготована человеку рождением. Каждое поколение рассчитывает на свою особую миссию в мире; нет нужды говорить, хорошо это или плохо, но каждое поколение, в свою очередь, должно быть готово к разочарованиям: всякий порядок не так просто поддается изменению. Быть может, самое важное в теперешнем положении вещей в свете – духовное восстановление человека как на старых, так и на новых началах, органическое и полезное их совмещение.

Не знаю никого из авторов второй половины XX столетия, кто бы так мастерски обращался с фактом, с тем, что происходит ежедневно, превращая его с помощью ему одному доступных средств в совершенные формы. Одно из двух: или с писателем Крупиным постоянно что-то происходит интересное, едва не на каждом шагу встречаются ему личности-самородки, или писатель Крупин настолько интересен сам, что способен преобразить в откровение любое рядовое событие. Важней чистого воображения для него – преобразование материала, его пересказ на свой, ни с чем не сравнимый лад.

И в письме его ни с кем не перепутать. Это какая-то особая манера повествования – живая, даже бойкая, яркая, воодушевленная, образная, в которой русский язык «играет», как порою весело и азартно «играет» преломляющееся в облаках солнце. Для читателя это езда по тряской, но очень живописной и занимательной дороге, где и посмеешься, и попечалишься, и налюбуйешься, так что никаких неудобств от езды не заметишь и с огорчением обнаружишь, что путешествие закончено. Одно закончено, но ведь впереди еще следующие.

Воистину: жизнь на вятской земле, откуда родом писатель, была трудной, но до чего же плодотворной! Она и нигде в России не была легкой, вот почему у нас воссияла самая лучшая в мире литература. Трудная – из трудов состоящая, научающая, оставляющая полновесный след человека на земле.

Валентин Распутин

Повести

Живая вода

Тебе на память, мне на камень.
Заговор







- Жили-были... – начинал Кирпиков, но Маша кричала:
 - Ой, только не дед да баба!
 - Мать, слышь?
 - Чего? – откликнулась из кухни Варвара.
 - Чего внучка-то говорит, хватит, говорит, пожил.
 - Живите, – разрешала Маша. – Ты мне не сказку Расскажи, а про себя.
 - Про себя? – Кирпиков раскрывал газету, притворялся, что изучает ее, и докладывал:
 - Про меня ничего не написано.
 - Как ты был маленьким, – заказывала Маша. – Как ходил за живой водой.
 - Ходил и ходил.
 - Ну, деда, ну последний раз! Ну! «Жили вятские мужики плохо, но этого не знали...» Деда! Дальше!
 - Жили и жили. И думали, что живут хорошо, не хуже других, но пришел захожий человек, говорит: «Чего это вы так плохо живете? Живой воды, что ли, не пивали?»
- И сам Кирпиков, и Маша, и Варвара знали, что он расскажет историю до конца. Для Маши-то! Да она как хотела им вертела. Да он и рад был. Машенька тоже бегала за ним как хвостик, как привязанная. И не разобрать было, кто из них ребенок. Машенька воскресила начало его жизни. Оно как будто уходило куда-то на пятьдесят лет и вот – вернулось.
- Это не было стариковское впадение в детство, нет, эти воспоминания были за семью печатями взрослого труда, нехваток, лишений, войны, снова труда, глухоты к детству собственных детей, но пришла Маша, положила свои ручонки на эти печати, и они исчезли, двери упали прахом, и – Боже мой! – как и не было всей жизни, а только детство.



Как, оказывается, он много знал сказок! Будто он сам сочинил все сказки про дурачков, и Бабу Ягу, и Кощея, он свободно шел по незнакомой дороге, уверенный, что выйдет к нужному месту. А песни! Уж на что Варвара певунья, и та диву давалась, как муженек распевал «Ой да вы не вейтесь, русые кудри...», «Во субботу, день ненастный...» (эту она даже подтягивала, а Машенька, не вдаваясь в смысл, танцевала), «Двадцать второго июня, ровно в четыре часа...». А сколько вполне печатных частушек сыпалось вдруг из памяти Кирпикова на восхищенную Марию.

Она не оставалась в долгу и угощала стариков новомодными песнями, которых знала множество. «Не плачь, девчонка...», «Снегопады – это очень, очень хорошо...», «То ли еще будет...» и другие, заставляла деда играть в детский сад. Варвара раз усмеялась, когда ее старик изображал мальчика-бояку. «Не бойся, мальчик, – говорила Маша, приступая к лечению, – сейчас машинка немного пожужжит, пыль с зубиков сдуем, и все». Кирпиков, помнящий выдираание остатков зубов без заморозки и делание искусственной челюсти, искренне выказывал ужас. Пришлось побыть ему и тетей воспитателем, а Маша являлась к нему в группу с проверкой. «Что-то у вас, Александра Ивановна (Кирпиков надевал Варварин фартук), дисциплина хромает. Сделайте выводы». И Кирпиков делал. Он проводил собрание

и страшал непослушных кукол-детсадовцев криком: «На Гитлера работаете!» То-то Маше смеху.

– Ну, деда, – напомнила Маша, – «сказал им захожий человек: чего это вы так живете, что хуже вас никто не живет?».

– Мужики говорят: «Ты давай уматывай по холодку, а уж мы сами разберемся». Ну, он умотал, а мужики задумались. День думают, два, неделю: а вдруг в самом деле живут хуже всех? Обратно, и живой воды не пивали. Надо спросить. Надо, как не надо! Кого спросить! Как кого? Бога, больше некого...

Маша усаживалась поудобнее. Кирпиков понимал, что запрягся в историю и надо тянуть до конца.

– Кого послать? Кого ни коснись, никто не хочет. Этот боится, этому некогда. На том грех, на этом два. Я тут же крутился. Мужики решили: пошлем Саньку. Молодой, на него не обзарятся. «Вали, Саня, узнай, как и что. И живой воды попроси. Если что, мы даром отработаем». Ладно, говорю. Да и самому охота поглядеть. Взяли меня мужики за руки, за ноги, раскачали и на небо забросили. Только рубаху в штаны заправил, апостолы: «Кто такой? Куда?...» Так и так, к самому. А там у них так налажено, все так сверкает, что стыдно в рвань-е-то. Да босиком. Один говорит: «Может, не пускать?» Другой все же за то, чтоб пустить, – много ли, мол, сопляк знает и все ж таки связь с народом. Пустить! Не успел моргнуть, как переодели, обули, представили. Вот, говорю, послали спросить. «Откуда?» – «Вятский». – «Что за народ?» – «Да ничего, – ему отвечают, – в рамках терпимости. Храмы вот только ставят деревянные, а в остальном терпят. И живут хорошо, ребятишки даже летом ходят босыми. Перед вами наглядный пример». – «Еще какая просьба?» Вот, говорю, велели спросить, как бы живой воды, хотя бы по глоточку. Разговоров много, а не пробовали. «Выдать! Все?» Все не все, а уж сзади в спину тычут – кланяйся. Вышел в переднюю, очухаться не могу, думаю, как бы запомнить: вот эдак я стоял, вот эдак он сидел, а что ж не спросил-то, хуже мы живем или лучше? Гляжу, а уж я обратно босиком. Апостолы говорят: «Давай валяй ко своим, иди еще потерпи». А как, говорю, живой-то воды, ведь обещали. «Будет. Расплата потом». Подвели ко краю, спихнули. Да ловко рассчитали, упал на солому, глазами хлопаю, а в руках здоровенная бутыл. Кругом мужики. «Принес ли?» – «Вот». Стали пробовать. Да больно всем понравилась. Да раз пустили по кругу, да другой, да и песню запели.

– Какую песню? – спросила Маша.

– Какую? «Степь да степь кругом, путь далек лежит...».

– А в тот раз пели «Славное море, священный Байкал...».

– Не одну, много пели. Распелись, глядят – бутыл-то пустая. «Давай, Сань, недолгое дело, слетай за добавкой». Я и жду, когда раскачают да бросят на небо. «Нет, – говорят, – это ближе, беги в сельпо, никакой разницы...»

– И тут ты просыпаешься? – спросила Маша.

– И тут я просыпаюсь.

1

Не в бархатный сезон, как сказал поэт, пришел в мир наш герой, прожил жизнь, как велели, и неужели кто-то осудит, что в эти минуты он сидит за кружкой пива? Вернее, не сидит, а стоит и говорит речь. И все его слушают, хотя в час закрытия пивной невозможно завладеть общим вниманием. Хотел, например, некий Вася Зюкин от восторга души запеть, но тут же буфетчица Лариса выкинула певца. И снова тишина. Если бы в пивной могли выжить мухи, было бы слышно, как они пролетают.

– Мы чешем в затылке, а лысеем со лба, – говорил Кирпиков. – И точно так все. Поэтому если даже мы спрыгнули не с одного дерева или вышли не из одной пещеры, все

равно мы были братьями и сестрами. Хотя бы троюродными или четвероюродными. И если заняться, то везде найдешь свою родню. Даже в Африке, только, может, они не признаются...

Интересно, чем же привлек Кирпиков общее внимание? Разгадка заключалась во времени года: наступала весна. Уже высунулись из снежных варежек ладошки пригорков, уже хозяева поглядывали на огороды. Огороды были у всех – лошадь только у Кирпикова. Лошадью был безымянный мерин лесобазы. Кирпиков числился сторожем лесобазы, но считал себя конюхом. «Слово „сторож“, – говорил он, – позорит нашу действительность. Раз есть сторож, значит, имеются воровы. Но кому надо, тот и у сторожа украдет, а от честных и стеречь нечего». Весной в дни посадки картофеля и осенью в дни уборки Кирпиков становился желанным для всех. Его наперебой угощали, лучше сказать – поили авансом, и что важнее для него – выслушивали. Он переставал быть Сашкой, вспоминалось его полное имя.

– Говорите, Александр Иванович, – возник робкий голос пенсионера Делярова.

– Приказываю слово «баба» вычеркнуть из всех списков! – приказал Кирпиков. – На полях пометьте: женщины. Приступайте!

– Нет списков, – сказал Деляров, – неоткуда вычеркивать.

– Дурак ты, – сказал ему Кирпиков.

– Я – дурак?! – трусливо спросил Деляров, взглядом вербуя свидетелей.

– Ты, ты, – успокоил его шофер Афанасьев, в просторечье Афоня.

– Только без рук! – крикнула Лариса.

– Все дураки, – обобщил Кирпиков.

– Ну, если все, – успокоился Деляров.

– ... за исключением моего мерина. Нас много – он один. Он – последняя лошадь, я – последний конюх. Он умрет, и я отомру. Записываем далее: красота есть природа жизни. Но вы все слепые.

Изречение о красоте пропало незамеченным, а упрека в слепоте мужики не приняли – какие же они слепые, если шли по домам самостоятельно, а если спотыкались, то не от слепоты, а оттого, что обойти препятствие не было сил.

– История жизни учит... – продолжал Кирпиков.

Но чему учит история жизни, никто не узнал. Жаль. Что делать – земное притяжение одолело. Кирпиков рухнул. Искусственная челюсть отрывисто лязгнула.

– По домам! По домам! – закричала Лариса.

Стали расходиться по одному и группами.

Вася Зюкин встречал выходящих и радостно спрашивал:

– Все видали? Ну Лариска, ну баба! Отвори ухо с глазом, и оба разом! Как меня, а?! До трех раз, не меньше, перевернулся. На четыре точки встал. У жены моей и то так не часто выходит. Самое главное, – хвалился он, – ни одна стеклотара не разбилась, хоть бы где трещина.

Вышел не пивший ни грамма, но окосевший от спиртных паров пенсионер Деляров. Он разулся и убежал трусцой. «От инфаркта, – думал он, – и от пивной подальше». Конечно, без необходимости пахать огород он бы не стал кланяться Кирпикову. Но не копать же лопатой. «Однообразный физический труд отупляет», – думал Деляров.

Афоня вывел Кирпикова, уравновесил.

– Дойдешь?

– Докуда? – спросил Кирпиков, плохо ориентируясь.

– До дому.

– В какую сторону?

– В эту, – показал Афоня.

– В эту дойду, – ответил Кирпиков.

На прощанье они пожали друг другу руки. Это было рукопожатие равных по положению в поселке людей. Если у Кирпикова был мерин, то у Афони – грузовик. Привезти сено, подбросить дровишек – за этим шли к Афоне. Разница была в оплате. Кирпиков за работу получал пол-литра с закуской, Афоня брал деньгами.

Афоня, а с ним и Вася Зюкин ушли. Вася, потряхивая бутылками за пазухой, запел. Бутылки звякали на две октавы выше – Вася не тянул.

– Башку тебе баба отсоединит, – полушутя-полупрорицаая сказал Афоня.

– Сегодня не, – весело ответил Вася, – ей сегодня ни до чего, у нас собачка сдохла. Завтра похороны, приходи, помянем.

Вскоре звяканье затихло, и Кирпиков, всем нужный человек, остался один, всеми брошенный. Ему так много подносили, что он набрался сверх меры.

Ему следовало бы знать, что пресыщение наказывается, но все мы крепки задним умом.

Мимо по железной дороге, временным ожерельем обхватывая горло поселка, летели поезда. Днем пассажиры могли видеть крохотный вокзальчик, станционный буфет, несколько десятков домов, забор лесобазы, штабеля дров, металлическую трубу общественной бани; ночью мелькало несколько огоньков, и все.

Но как упрекать пассажиров мягких, купейных и плацкартных вагонов в том, что у подножия мелькнувшего за окном станционного буфета страдает их ближний, а они не спешат на помощь. Тем более и страдал он заслуженно. Мог и не напиваться. Но опять-таки, как винить Кирпикова: просили выпить – не мог отказать. Ему оставалось проспать и отрабатывать аванс.

Дальние поезда летели мимо, но два раза в день останавливался пригородный. Единственный пассажир, сошедший в поселке, запнулся за Кирпикова.

– Кто там? – спросил Кирпиков спросонья. – Сейчас запрягу. – И очнулся: над ним стоял человек в форме.

Кирпиков одолел земное притяжение и тогда только разглядел, что форма не милицеевская.

– Не на того нарвался, – сказал он, собираясь снова залечь.

Но человек свирепо встряхнул его, и Кирпиков узнал лесничего Смышляева. Пошли вместе. Кирпиков шел зигзагами, будто запутывал следы.

– Ну что, – спросил он лесничего, – разбогатело государство от моей пятерки?

– Если ты поумнел, то разбогатело.

– Штраф – не пища для раздумий, – назидательно сказал Кирпиков. – Возьми на карандаш. За веники! – воскликнул он, адресуясь небесам. – За веники меня штрафанули на пятьдесят рублей на старые деньги!

– Нечего в питомник соваться! Я на каждый росток надышаться не могу!

– Все там ломают, – Кирпиков наивно думал, что ссылка на большинство оправдывает, – а засекли меня. Думаешь, я обеднел из-за твоей пятерки?

– Лишний раз не выпьешь.

– Меня и так уважают в десятикратном размере. А кто тебе поднесет? Пошли в стекляшку, проверим. Заворачивай. Никто не заплачет, где могилка твоя...

Лаяли собаки. Они преследовали две цели, и довольно успешно: оправдывали объедки с хозяйского стола и передавали вдоль по улице как эстафету подгулявшего Кирпикова и его спасителя.

Из Кирпикова начинал выходить хмель, и он мелко постукивал вставными зубами.

– И чего было человека тревожить? – обиженно сказал он. – Лежал бы себе и лежал. Нет, вставай. Не можешь ты, видно, чтоб люди спокойно жили. А я тебя другом считал.

– Опять неладно, – усмехнулся лесничий. – Оштрафовал – плохо, от простуды спас – плохо. Ты золотые веники ломал. Это посадки карельской березы, из нее лучшая мебель.

– А мебель нам ни к чему, – заявил Кирпиков, принимая лужу за кусок асфальта. – Я и без кровати, на полу сплю – некуда падать.

Лесничий вывел его на берег.

– И вообще, – сказал Кирпиков, – будет у кого пожар, я тушить не пойду – пусть все сгорит. Без чего можно обойтись, это лишнее и вредное. Это уж просто не знают, как из народа деньги выманить. Сколько стоит мебель из карельской березы?

– Тысячи две, две с половиной.

– Две с половиной?! – На такую заоблачную цифру Кирпиков так потрясенно ахнул, что собаки озадаченно смолкли. – Вот ты когда себя выявил! Вот где тебя подловил! Две с половиной! На спекулянтов работаешь. Мебель, хренебель, рестораны. Одни тунеядцы. Работать некому. Закрыть рестораны – вот и рабочая сила.

– Нет, Александр Иванович, красивая вещь – это хорошо. Вот представь, ты сделал...

– Не собираюсь...

– Да уже и некогда. Дошли.

– Я и сам вижу. Дошли! Был ты мне хорошим, сам напортил. Ты людей на мне не учи. Ты к народу задом не становись, – назидательно сказал Кирпиков.

– Прожил ты жизнь, а ума не нажил.

– Как это прожил? – вскинулся Кирпиков. – Чем я кому помешал? Места я немного занимаю, так что разрешите пожить!

Лесничий пожал плечами и пошел своей дорогой. Идти было неблизко. Плохонький лес-самосев шумел под ветром, и даже привыкший к лесу человек вздрагивал, когда ветер внезапно заслонял дорогу веткой.

2

– Картина Репина «Не ждали!» – так комментировал Кирпиков свое переступание через порог. – Не вижу радости.

Варвара вздохнула и отвернулась. Можно было, дождавшись мужа, пойти спать, но она по опыту знала, что пока он не выговорится, не уснет. Имелось средство – выдернуть вставную челюсть, но муж был начеку.

– Не двигаться, – предупредил он, ложась в углу под иконой. Лег на пол принципиально, как бы заочно доказывая лесничему, что слова у него не расходятся с делом.

– Ну, борони, борона, – вздохнула Варвара. – И когда ты только образумишься? Ведь лысый уже, леший ты, леший, в четыре глотки льешь, да когда хоть доверху нальешься, когда хоть руки мне развяжешь, леший ты, сатана.

– Ответь на вопрос, – сказал на это Кирпиков и закурил, – есть ли в могиле кровати? Нет. Три очка. Второй вопрос: когда я умру? Отвечаю: ни-ко-гда. Весной и осенью я на вес золота, умереть не дадут. Лето исключается. Остается зима. Нахожу выход – на зиму уезжать в Африку.

Варвара пошла в кухню и налила в стакан воды.

– Под иконой не посмеешь, – хладнокровно сказал Кирпиков. – Мне даже выгодно, что ты веришь. А я не верю. Могу и матом запузырить.

– Господи, твоя воля, прости неразумного. Не доводи до греха.

Кирпиков распалился:

– За что простить? За то, что всю жизнь хребтину ломал, за это? За то, что пятерым детям образование дал? За то, что воевал? А? Что чужой копейки не взял? За это? Не приближайся! Стоять на месте! Прицел постоянный!

Варвара, усыпляя бдительность, взялась за штопку.

– Я вижу перед собой темноту, то есть тебя. И должен просвещать. Даю справку на вопрос в устном виде. Бог для начала был, не спорю. Он завязал тут жизнь, сказал: размножайтесь – и улетел. И мы занялись. Скажи, кто создал твоих детей? Нет ответа. Я или кто другой? Открой тайну. Все-таки я? И запомни: я их создал – я и есть бог. Проверь. Ударь табуреткой – выживу. Поздно менять планету.

Варвара плюнула и ушла. Кирпиков, делая вид, что утирается, вскочил.

– Ты плюешь?! – заговорил он. – Ко мне не пристанет. Прошу слова: в меня плюнула русская женщина. Предел кончен.

Все-таки сегодня он был не в ударе. Чувствовал какую-то слабость. То ли хмель проходил, то ли разговор с лесничим подействовал. Раньше он выделял штуки похлеще, например, репетировал, как ему лежать в гробу (значит, умирать все-таки собирался).

– Следующим номером нашей программы, – объявил Кирпиков и пошел к репродуктору...

Номер назывался: «Не хотите со мной разговаривать? Очень хорошо! Я вынужден говорить с Москвой».

– Како те, лешему, радио, времени два часа! – чуть не плача закричала Варвара из кухни. – Все другие спят давно, Господи, за что мне такое наказание?

– Итак! В эфире Кирпиков. Местное время... Мать, мерина кормила?

– Чтоб он сдох, твой мерин.

– Просим извинения у слушателей. Это происки чуждого элемента. По команде кормила? Я серьезно спрашиваю.

– Кормила!

– Благодарность в приказе. Итак. Товарищи! К нам с просьбой обратилась простая рядовая труженица, внешне ничем не приметная женщина. Это ты. Исполняем для нее песню.

Кирпиков запел:

Когда я был начальником,
Носил штаны в полоску...
Сохранять спокойствие,
Дайте папироску.

Как и полагалось искусству вообще, искусство Кирпикова было правдивым. Закурить хотелось, папиросы кончились, штаны в полоску износил, и не одни, и начальником побывал. Здесь же, на месте лесобазы, были колхозные поля, и Кирпиков, вернувшись из госпиталя, бригадирил. Что касается призыва к спокойствию, его можно толковать по-разному. Кирпиков же как реалист не вкладывал в него какого-либо второго смысла – он просто призывал к спокойствию. На самый крайний случай мог найтись кто-то и сказать, что не важно, какие штаны носил герой, но на всех не угодишь.

Но недешево стоит занятие искусством – Кирпиков поплатился: Варвара подкралась сзади, схватила за голову и выхватила вставную челюсть.

Кирпиков не смог даже пристойно кончить передачу – не будешь же шамкать беззубым ртом.

Варвара, спрятав добычу, села на стул и долго с состраданием наблюдала, как муж обиженно грудит половики и мостится на них.

– Саня, Саня, – горестно сказала она, – до чего ты дошел, Боже мой, полжизни ты мне убавил своей пьянкой. Был человек, стал Сашка. Ведь света белого не видишь из-за водки проклятушей! Ведь не пил же ты эдак раньше, вот и Машку привозили, не пил. Меня совсем

ни во что не ставишь, издеваешься, все нервы вымотал, глаза бы не глядели! Брошу я тебя, уеду к кому-нибудь из ребят.

– Жужжа шы шам, – сказал Кирпиков.

– А не нужна, так все равно не вернусь. Под окнами просить пойду, и то легче. Эх, Саня, – говорила Варвара, – а ты-то кому нужен? Сдохнет твой мерин, и кто о тебе, кроме своих, вспомнит? Пенсию выработал, живи, радуйся. Это кто же влюбит твою пьянку? – говорила она, качая головой. – Кто тебе запрещает в праздники или после бани выпить, кто? Ведь выпить можно, напиться грех. Когда я тебе в рот глядела или стакан вырывала? Грязный ведь валялся, до чего дошел, совсем от тебя человека не осталось.

Смотреть на жену означало смотреть правде в лицо. Кирпиков смотрел. Такая вдруг усталость подперла, сердце заболело, голова закружилась.

– На! – сказала Варвара, доставая вдруг полную бутылку и стучая об стол. – На, залейся. – И вставные зубы принесла.

Смена политики давно не влияла на Кирпикова: Варвара все перепробовала в целях воспитания. Вот бутылка, вот возможность говорить – сразу две прихоти ублажила.

А он и не заговорил, и пить не стал, сидел понурясь. Жалостливым видом своим он притушил злость жены. Уже на излете сердитости она пожелала:

– Всю стрескай.

– Прижимает, мать, – сказал Кирпиков, потому что почувствовал, что и лежать не мог и сидеть трудно, попытался встать – сердце ощутимо застучало.

– Легко ли!

Ему бы к фельдшерице, но он постыдился беспокоить ночью людей, отнес недомогаение на выпивку и стал мучиться в одиночку. Какое ни бывает сильное участие к страдающему человеку, человек одинок в боли.

Впервые в жизни он дал повод своей жене стать сильнее его: хворала чаще она, а он злился, что вечно не вовремя, с ним же ничего не делалось, ни одна холера, по его выражению, его не брала. Что только он не вытворял над своим здоровьем: потный купался; неделями на лесозаготовках мял сухомятку; спал урывками, сунувшись в угол; пил из весенних луж в проталинах, куда на первое тепло сползались живучие насекомые и уже головастики начинали дергать хвостами. А фронт!.. Все, вместе взятое, не означало, что он умышленно издевался над собой, так уж выходило, что он первый лез в воду на сплаве, работал в лесу еще при лежневках, когда не было котлопунктов, спать обычно бывало некогда, ждала работа. Не видя выхода, он придумал, что он трехжильный, что суровая жизнь есть закалка. Одна жила, говорил он, у всех, две кой у кого, а три у тех, на кого вся надежда. Но что такое беспредельная закалка, как не изнурение?

– Тебе говорили, тебя предупреждали? – почти радостно говорила Варвара. Она помогла раздеться, лечь в постель.

Вскоре, видя побледневшее лицо мужа, его вялость, перестала злорадствовать, стала жалеть, но и жалея, упрекала и подчеркивала, что вот допился, что она всегда говорила... словом, то, что уже говорилось сто раз, но не действовало и должно было подействовать именно сейчас.

– Нету, нет, Саня, такого молодца, чтоб поборол винца.

Чувствуя себя униженно от своей слабости и стесняясь, что вызвал столько хлопот, Кирпиков уверял, что все нормально, сейчас засадит стакан и встанет как миленький. Варвара и в самом деле налила, но на водку было рвотно смотреть.

– Убери! – велел Кирпиков. И попросил: – Открой окно.

Легче стало дышать.

– Живой бы воды сейчас, – помечтал Кирпиков, – а не эту заразу. А вот нет, сколько ни хочется, нет живой воды. Сколько сказок – живая вода. А в жизни нет и нет. Ну хоть бы кто раз в жизни спросил, с чего пьем.

– Спи уж! Лишь бы на кого свалить.

Было уже поздно. Если бы Кирпиков мог приподняться, он бы увидел, как светлыми точками в мягкой темноте скользят пассажирские поезда. Но и не приподнимаясь, он слышал стук колес; когда он стихал, слышался лай собак. И прохожих не было в этот запредельный час, и луна по-прежнему отсиживалась за тучами, но собаки усердно лаяли и въедливо слушали, лает ли сосед и лает ли сосед соседа, а если сосед соседа молчал, то дружно лаяли на него – и бедный пес вынуждался лаять вместе со всеми.

3

Всю ночь маялся Кирпиков. Никогда не ходивший к врачам, он напугался своего состояния. Он пытался встать, но слабость валила обратно. Под утро ненадолго уснул и проснулся весь мокрый. «Пропотел», – обрадовался он. В открытое окно сквозило, пахло свежими опилками, навозом, угольной гарью. Рваные тучи резво подхлестывались ветром. Медленными лебедями проплывали по стене солнечные пятна. Кирпиков встал, накрошил в ведро с водой хлеба, надавил десяток вареных картофелин, посолил.

На крыльце зажмурился – так остро сверкало солнце в лужах. Чувствуя тяжесть ведра и все-таки не отдыхая, чтоб не тешить болезнь, он открыл конюшню.

Мерин не сразу начал пить из ведра – ждал команды.

Команда последовала:

– Приступить к приему пищи!

Мерин склонил морду к ведру.

– Эх, милый, – обессиленно заговорил Кирпиков, – попадешь ты в лошадиный рай, а я в человеческий. Что ж мы друг без друга будем делать? Пожить бы еще лет полста, а? Да нет, много. Лопай, лопай. Как запрягемся на декаду, смотри, чтоб ударные темпы...



Хотелось сесть, но Кирпиков не сел, стал вытаскивать из угла заржавевший плуг. Потянул за ручки – и ноги подломились. Упал на сухую солому, ударился лицом о лемех. Сердце захлебисто застучало, потом оборвалось.

Он хватал ртом воздух и не мог вдохнуть: сухая пыль стояла в горле...

Варвара увидела его около конюшни, откуда он еле-еле душа в теле выполз и лежал, подтянув ноги к груди.

– Нализался уж! – закричала она и испугалась: во всю щеку шел красный порез.

Виновато улыбаясь, он прошептал:

– Все, мать. Вот мне и позвонили. Иди объяви всем, что я околел.

Фельдшерица Тася, как и все, заинтересованная в Кирпикове, пришла по первому зову. Диагноз, поставленный ею, был таков:

– Не те ваши годы, Александр Иванович, чтоб так храбриться.

Три курицы отдали жизнь за жизнь Кирпикова. Три грудные куриные косточки собрал он и трогал сухими пальцами.

Таковыми косточками, похожими на уголок, играют дети. Берутся за концы и со словами «Мне на память, тебе на камень» раздергивают. Кому достанется часть побольше, счита-

ется, что он умрет позднее. Когда приезжала Маша, они тоже так играли. Кирпиков держал косточку за самый кончик, а Машу учил держать около уголка – и Маша побеждала. «Я никогда не умру!» – говорила она. «И правильно!» – одобрял он. Вот бы приехала, она б его живо растеребила, поставила на ноги, повела бы смотреть секретники. Когда он был маленький, у них не было такой игры: копаются ямка, туда кладется разный красивый сор – стекляшки, камешки, тряпочки, – потом ямка закрывается стеклом и засыпается. И сверху ничего не видно.

У них с Машей был сделан большой секретик. Они пили чай. Маша болтала ногами, вертелась за столом и довертелась: разбила чашку. Миленькая, как она испугалась! Кирпиков думал – палец порезала. Нет. Ревет-уливается. Из-за чашки? Всего-то? Кирпиков схватил свою, которая досталась еще от деда, и хлопнул об пол. Маша все равно плакала. Он стал совать ей тарелку: «Бей, Машенька, бей». Маша понемногу успокоилась. Тогда они подмели осколки, выбрали красивые и сделали секретик.

Впервые став беспомощным, Кирпиков оказался великим занудой. Весь он изнылся, исстонался, загонял Варвару до того, что она уж и не рада была, что муж дома, а не – прости, Господи! – в пивной. Он все посылал звонить невестке.

– Пусть Машку везет. Ты понимаешь русский язык? Иди звони.

– Господи, и болеть-то нормально не умеешь, – злилась Варвара.

Кирпиков приподнимался на кровати.

– Ты знаешь, – говорил он проникновенно, – я много сейчас думаю.

Варвара попадалась на удочку.

– Ну, хоть додумался, что пить нельзя? Хоть додумался, что за всеми не угонишься?

– Да, мать, надо тормозить. Да я уж и перестал. Ты знаешь, я ведь и не жил еще.

– А кто за тебя шестьдесят лет жил?

– Не знаю. Только не я. Я еще и жить не жил – вся жизнь одним махом: ломал хребтину, тебя обижал...

– Хоть теперь-то понимаешь...

– Вся жизнь из-под седла да в хомут, дети все мимо прошли, дня от ночи не отличал.

– Да, Саня, ох неналомный ты был.

– Надо мне с моей жизнью проститься и жить по новой системе. Перестроить свое заведение. Ты меня прости, зла не помни, я не виноват, что так меня крутило.

Варвара уходила кормить оставшихся куриц, мерина, шла в магазин, где бабы и продащица Оксана спрашивали, когда же Кирпиков думает копать одворицы: погода подпирает, земля сохнет.

– Да уж как-нибудь, – вздыхала Варвара и возвращалась домой.

Но однажды Кирпиков довел ее.

– Хорошо ты устроилась, – сказал он, – очень хорошо. Богу помолилась.

– Из-за тебя, лешего, молитвы ни одной не знаю! – со слезой закричала Варвара. – Поехала на Пасху со старухами, всю обсмеяли. Говорю: «Отче наш, ежели еси на небеси». Позорище, со стыда сгорела.

– Но раз уж ты уцепилась, верь, – опять начинал Кирпиков. – Если тебе больше не за что держаться. – Он начинал кашлять, и Варвара видела в этом знамение: кашель за богохульство. – Нет, товарищи, плохо мне – пусть будет плохо, а хорошо – пусть будет хорошо, не перед кем унижаться, сам достиг. Я сам себе бог. И новую жизнь начал тоже без него. Он за меня не пьет? Он бросил курить?

– Господи, Господи, – закричала Варвара, – думала отдохнуть перед смертью, нет, не даешь! Как на точиле живу. Какой к тебе лихорад прицепился, что ты меня травишь? Ухожу!

– Не бойсь, прорвемся! – закричал он вслед.

В тетрадке, которую держали на письма, он после недолгих мук творчества проставил сегодняшнее число, месяц, год. Написал: «Я родился весной в девять часов утра...» Дальше заело. Он посмотрел на часы, сверил по солнцу, как раз девять часов утра. Посмотрел в тетрадку – стоит сегодняшняя дата, время совпадает. И все разговоры его и заявки о новой жизни вдруг представились ему очень серьезными. Он встал – неуверенная легкость в ногах, но стоит же, не падает, сердце бьется, солнце светит, скоро Машка приедет, чем не жизнь!

Он умылся (немного заныла царапина на щеке) и в девять подсел к столу, снова посмотрел в тетрадку и засмеялся: получилось, что он родился десять минут назад и уже крестился умыванием. «В самом деле! – воодушевленно подумал он. – Надо по-хорошему развязаться с прошлой жизнью – и в новую!»

Он бойко, почти без ошибок начал строчить: «Я, Кирпиков Александр Иванович, находясь в полном уме и добром здравии, завещаю внучке моей, Марии Николаевне...» – тут перо споткнулось: завещать было нечего. Он обвел взглядом комнату, прикинул в уме: действительно нечего. Даже головой крутанул – вот это называется пожил. Его легко можно было упрекнуть в непоследовательности: то ему ничего не надо, то вдруг чего-то хочется завещать.

«А дед?» – вспомнил он.

Дед его перед смертью подозвал к себе любимого внука Саню и сказал: «Завещать тебе нечего, но только одно – до обеда не пей! Не водка затягивает, а опохмелка».

Кирпиков этим успокоил себя и начал заново, уже в другом духе: «Остановите маятник – Кирпиков покинул вас, чего и вам желает...» Он вовсе не желал всем останавливать маятник, но хитрая штука письменная речь: хочешь сказать одно, а говоря по-нынешнему, выкатывается из-под шарика другое. Кирпиков почесал в затылке и вновь занес ручку над тетрадью, но тут, как черт его поднес, ввалился Афоня.

До лучших времен тетрадь закрылась.

– Чего это ты? – Афоня пристально вглядывался в Кирпикова. – Морду-то где рассобачил, говорю?

– Об соху звезданулся.

Афоня достал из кармана посудинку и уже убежал на кухню за стаканами.

– Мне не бери! – крикнул Кирпиков. – Я больше не пью.

– За что поздравляю! – сказал Афоня. – Сколь людей из-за нее на корню гибнет. Умеешь пить – начальник, а нет – утрись. Ну, чтоб тебе не хворать!

– Я больше не пью.

– Значит, помрешь. – Афоня отставил было стакан, но так как замах хуже удара, а замашка произошла, организм приготовился, то он выхлебнул свою порцию, передернулся и поднял палец. – А знаешь, почему помрешь?

– Я больше и не курю, – добавил Кирпиков.

– Еще быстрее помрешь. Знаешь почему? Нельзя таким рывком – сорвешь шестерни. Надо постепенно скорости переключать, а то муфта полетит. Мотор, – он похлопал по левому верхнему карману, – в капиталку загонишь. Не веришь? Мне один рассказывал – у них мужик помер. На сплаве. Надсадился, лежит, просит: «Дайте хоть сто граммов». И нашелся, сволочь, умник какой-то, говорит: «Не давайте, это вредно!» Главное – спирт-то был! И не дали! Врач потом сказал: если б выпил, жил бы. А ты таким рывком – это, Саша, под откос.

– Не буду! – твердо сказал Кирпиков. – Ты мой стакан тоже выпей.

– Смотри сам, – успокоился Афоня и выпил порцию Кирпикова. Делать ему больше нечего было, и он собрался. – Ну, давай! Я погляжу, да и тоже отрекусь от этой водяры. Лучше сэкономить. О! – вдруг сказал он, пораженный. – А как же за работу?

Это был вопрос по существу. Не брал Кирпиков деньгами, но те, кому он помог, разве отпустят, не отблагодарив. До этого времени хозяева выставляли после работы бутылку, она совместно распивалась, и все были довольны.

– Правильно! – воскликнул Афоня, уходя. – Бери деньгами.

Население поселка начинало волноваться. Картошка, вынутая из подполий, уже давала крепкие синеватые ростки, земля прогревалась, навоз на дворицы натаскан, а пахаря нет. Где?

– Небось не просыхает! – кричал обиженный пенсионер Деляров.

Круглая продавщица Оксана, жена Афони, тоже негодовала – на Кирпикове был долг в пять двадцать. Давался он Кирпикову натурой в счет будущей вспашки, будущее наступило. Оксана не постеснялась спросить Варвару, думает ли ее муженек отрабатывать денежки. «Болен он». – «Небось опился». – «В самом деле болен». – «Скрываешь». – «Спроси фершелицу. Дай я его долг отдам». – «Я уже сама отдала, если он не хотел мне помочь, так и скажи». И т. д.

Соседка Кирпикова, Дуся, говорила, что да, фельдшерица приходила, но сама же отвергла сердобольный вариант: «Спирту небось за вспашку притащила, вот и дует».

Бедная Варвара, раньше имевшая от весны и осени кроме огорчений все же и моральное удовлетворение как супруга знаменитости, сейчас не знала, куда деться. Никто не верил, что Кирпиков болен.

– Закрылся да хлещет!

– Коровыми глотками!

– Его поили, он думал – даром?!

– Мы не дураки, как некоторые думают! – кричал пенсионер Деляров. – Авансы выданы!

– Вы не дураки, – уважительно говорила Дуся, мать-одиночка. И в данное время вообще одиночка, дочь самокруткой ускочила замуж в город.

С приходом Афони наступила ясность момента. Кирпиков болен. Был. Выздоровливает, зря не орите. Больше не пьет ни под каким видом. За работу (тут Афоня сделал паузу) будет брать деньгами.

– Деньги – мера труда! – крикнул Вася Зюкин.

– Молчал бы! – оборвала его Оксана.

– А расценки? – бегая трусцой вдоль прилавка, кричал Деляров. – Пусть покажет расценки! А подоходный налог он думает отдавать? А частносекторский? А комиссионный? А многодетный? А прогрессивный?

– Действительно, вот именно! – поддакивала Дуся.

– Платить по совести, – отвечал Афоня.

4

Кирпиков чинил упряжь. Сшивая ременные вожжи, резко продергивая дратву, он все больше оживлялся и все больше уважал себя – победил, выдержал натуру, действительно переродился. Визит Афони он расценивал так – приходило прошлое с его пережитками, но оно его не утянуло и уже не утянет.

Всю упряжь перебрал он, все проверил, добрался до кнута. Плетенный из узкой сырой кожи, кнут залоснился, почернел, черенок из вереса был как лакированный. Сколько раз этот кнут взвивался над мерином. И без того надрывался мерин, тянул воз, и казалось, вот-вот сдохнет – и останется воз в глубокой колее, в сыром овраге, но со свистом и руганью врезался кнут, обжигал кожу, и мерин дергался, чуть ли весь не продевался в хомут и вывола-

кивал воз на высокое место. Старший сын Николай тоже мог помнить этот кнут. Дважды он попробовал его: первый раз, когда Кирпиков увидел сына курящим и чуть не оторвал папиросу вместе с губами, и второй раз, когда ребята возили солому на быках и в полдень убежали купаться. И заигрались, пикируя с деревьев, подражая Тарзану из трофейного фильма. Заигрались все, а досталось Кольке, сыну бригадира. «Бей своих, чтоб чужие боялись...» – так оправдывал себя тогда Кирпиков.

Через колено сломал черенок, отшвырнул к печке. Нет, никого больше он не ударит в своей новой жизни.

– Ну! – решительно сказал он, вставая, обводя взглядом свою избу: кровать, на которой он чуть не умер и выжил, тетрадь, в которой была запись о его втором рождении. – Ну, запевай «Дубинушку» на две недели.

Он выкатил из конюшни плуг, смазал взвизгивающее колесико.

– Выходи, – велел он мерину.

Мерин не шевельнулся. Наступила заминка. Не хотелось Кирпикову ругаться в новой жизни, но для мерина наша речь не делится на печатное и непечатное.

– Выходи, голубок, – сказал Кирпиков. – Будет твое имя Голубок. Или Голубчик. Ругань забудь. Начнем жить по-новому. Выходи, Голубчик.

Номер не прошел. Положение деликатное. Ругаться неприлично – пережиток, но пахать надо. Кирпиков хватился за пояс – кнута нет. Им хоть бы пугнул для виду. Мерин тоже мучился – хозяин заговорил с ним как-то непонятно. Пришлось легонько одноэтажно матюгнуться. Мерин облегченно вздохнул и вышел.

Варвара вынесла ведро с водой.

Но опять заминка – не пьет мерин, ждет команды. Пришлось скомандовать, не ехать же с ненапоеным конем – запалится.

– Приступить к приему пищи, – сказал Кирпиков и сморщился: так издевательски по отношению к трудуге мерину прозвучали эти слова. – Ты тоже хорош, – сказал он с упреком. – Тебе дают самостоятельность, не матерят, а ты? Нет в тебе гордости.

– Может, еще дома побудешь? – испуганно спросила Варвара, думая, что муж заговаривается. – Окреп бы, а, Саня?

– Я бы побыл, – сказал Кирпиков, – но не от меня зависит – пора.

Солнце хлестало во всю свою теплынь и светлынь. Корешки каждой травинки крепили, холодная водица торопилась по ним вверх. Мальчишки старались выскочить из дому босиком. Даже ожидающий их справедливый подзатыльник был не помеха. Хотелось сигануть вдоль по улице, по лужам, но вдруг замечал мальчишка красных жучков-солдатики, присаживался на корточки и смотрел, как солдатики бегают взад-вперед, и пытался понять, куда они бегают, зачем, но бежали они пустые, без толку, и было их беготне только одно объяснение – весна.

И началась страда.

Поселок стоял частью на песке, частью на глине. Подзолистые были повыше и быстро высыхали, песок сыпался из-под плуга в отвал с шуршанием. Лемех продирался песком до блеска и пронзительно вспыхивал на заворотах, когда Кирпиков переставлял плуг в новую борозду.

Начал Кирпиков с дворицы Ларисы. Отказался выпить, его не неволили. Лариса подумала, что еще сто раз успеет отблагодарить, да и сто раз, полагала она, ему наливали и в долг и даром.

Ближе к пруду, на суглинках, земля была тяжелой, непроворотной. Там были огороды фельдшерицы Таси и почтальонки Веры.

Мерин, приседая от напряжения, продевался в хомут, плуг выталкивало вверх, Кирпиков обшибал ноги о вывороченные комья и камни и поневоле матерился.

Хозяйки просили перепахать второй раз, впопережку по вспаханному. Кирпиков не отказывал, но давал мерину и себе передышку. Мерину выносили искрошенную в тазу буханку хлеба, пахарю стопочку. Раньше стопочку Кирпиков принимал и, бывало, шутил: «На допинге идем». Сейчас отнекивался.

Мерин доедал хлеб, и снова они принимались за нелегкое дело свое. Кирпиков сбрасывал телогрейку, в следующем доме оставлял пиджак, потом стаскивал и рубаху и шел за плугом в шапке и в синей спортивной майке. Майку привез ему сын. Кирпиков поправлял падавшую с плеча лямку и орал на мерина: «Куд-ды, так-распротак, пр-рямо! Бороздой!» – и тому подобное, потому что ругаться пришлось: мерин одержал победу над именем Голубчик и сохранил прежнее к себе отношение.

После работы хозяйки зазывали Кирпикова в дом. Кирпиков и сам бы рад отдохнуть и поговорить. Раньше, когда он пил в каждом доме и переживал хмель на ногах, у него было непрерывное дурное состояние. Сейчас он смертельно уставал, но голова не болела, это радовало, хотя выпить с устатку, разогнать кровь ох как тянуло. Держался.

– Ну, не осуди, не побрезгуй, – говорили ему, пододвигая стакан.

– Нет, нет, – говорил он, – не заставляйте, не могу.

– Ну что такое для мужчины рюмочку?

Наливали побольше.

– Какая тут рюмочка, эка бадья. Ох, бабы, не тратьтесь вы на это пойло. – И переводил разговор. – Небогата наша земляца, бессолая, да теплая, – говорил он, кладя на стул шапку и садясь на нее. – Ледник виноват. Ледник-от был, мать его конташку, и утянул на юг все наше плодородие. У них там всякие цитрусы, хитрусы. На нашей земле растут. Зато там у них холера, а у нас нет. Возьми на заметку – холера заводится в тепле.

– Хоть закуски поешь, – просила хозяйка.

Но обедать в чужом доме, не выпив перед этим, было уже совсем неприемлемо.

– Дома поем.

Хозяйки терялись.

– Ну, так чего, – говорили они, стесняясь, – уж больно хорошо вы помогли, Александр Иванович, деньгами возьмите.

– Не беру. – Кирпиков брался за шапку и уходил.

В другом доме повторялось то же. Мерин ел хлеб, Кирпиков пытался поговорить.

– Грамотешку бы мне, – говорил он, – я бы начальником стал. Я бы вас научил, чтоб вы хуже всех не жили. Грамотешки у меня маловато, а вы живите, и ладно. Ну народ! Хоть пень колотить да день проводить.

Ему пододвигали стакан. Он уходил. Его догоняли, совали деньги, он не брал.

– Примите мой труд даром, – говорил он и направлялся дальше.

«Что с мужиком случилось? – судили о нем. – Был человек как человек, сейчас неизвестно что».

Вопрос с оплатой труда Кирпикова решился просто – деньги стала брать Варвара. Хозяйки приходили к ней и совали кто три, кто четыре рубля. Варвара сначала не брала – и сложилось такое мнение: это Кирпиков подучил ее набивать цену. Откровенно говоря, Варвара была рада деньгам. Но, не ожидая от мужа ничего хорошего, уж не чаяла дожидаться конца посадки.

Муж возвращался домой к ночи, два часа выдерживал опавшего в боках мерина, после поил. Сам, не раздеваясь, валился часа на четыре. И то ли ему некогда было слушать, то ли спал крепко, но казалось, что все меньше и меньше лают собаки.

С рассветом он входил в конюшню, будил мерина, давал овса, а сам кашлял до изнеможения – сказывался табак. Но не курил.

– А ну! – говорил он, разбирая упряжь, и, горбясь, выходил со двора.

Жалостливо смотрела вслед Варвара и спрашивала:

– Когда свою-то картошку посадим?

– В порядке общей очереди, – принципиально отвечал Кирпиков.

Перевернутая борона весело волоклась по земле, отпотевший лемех пускал вялых зайчиков, отражая первое рассветное солнце.

Приехала невестка. Приехала одна, без Маши.

– Заживаться мне некогда, – сказала она. – Я взяла два дня за свой счет. Папаша, простите меня, вы, ей-богу, ненормальный. Иметь в своем распоряжении лошадь и... Памятник вам никто не поставит.

Обращение «папаша» Кирпиков не любил и ответил, что мерин этот не его, а на балансе, что рабочие лесобазы имеют право на вспашку, что за услугу внесли в бухгалтерию деньги.

– Быть у воды да не напиться, – пожала невестка плечами.

– Жажды не испытываю, – надменно ответил Кирпиков.

И все-таки повернул коня к своему двору. Помог растрясать в борозды пряди желтого навоза, следил, чтобы пласт от пласта был на расстоянии лаптя.

А невестка стала приезжать вот из-за чего. Кирпиков по страсти своей к освобождению от всего лишнего решил, что хватит под картошку и трех соток, а остальное хотел засадить смородиной и малиной, чтобы было чем порадовать Машу. Но невестка решительно выступила против.

– Образования садовода у вас нет, а земли займете столько, что всю картошку вытеснит. Я стану приезжать, если вам трудно.

В уборку Кирпиков отдал свою картошку с лишних соток невестке. И раньше им посылали, но сейчас стало выходить, что картошка берется не в подарок, а как своя.

Злее обычного Кирпиков орал на мерина. Хотелось ему увидеть Машу. Вот уж кто помог бы ему утвердиться в новой жизни. Какая там пивная, да сгори она, пропади она пропадом, сто лет бы туда Кирпиков не зашел, если бы с ним была Маша.

Варвара привычно дивилась, как расторопна невестка, как ловко хватает из ведра и растыкает в бок пласта картошку, как в шутку, но энергично покрикивает на свекра. Варвара не любила невестку, но умом понимала, что их спокойному Николаю такая в самый раз. Не какая-нибудь развея-растрясина из нынешних. И как раз с невесткой Варвара хотела поговорить о причудах мужа. Надо было урвать момент.

– Подарочек привезла! – крикнула невестка, меняя пустое ведро на полное.

– Ой да чего уж ты, да зачем? – отозвалась Варвара, а про себя посердилась, так как подарки невестка везла рублевые, но преподносила так, будто достала их по великому благу.

Конечно, Кирпиковы отвечали отдарком, и не рублевым, но все выходило, что невесткино не в пример ценнее. Главное в подарке – оригинальность, считала невестка, а Варвара думала, что главное в подарке – полезность.

Сажать картошку – не копать. Трех часов не прошло, как закончили. Варвара и невестка собрали пустые мешки и ведра и пошли в дом приготовить стол посидеть на дороге, а Кирпиков отцепил от валька плуг, прицепил борону и стал ходить с угла на угол разравнивать участок.

– С успехом трудиться!

Держась за шляпу и начиная снимать ее для приветствия, показался за забором пенсионер Деляров.

– Нам бы этого добиться, – уважительно откликнулся Кирпиков.

Деляров обалдел и шляпу не снял, хотя как раз следовало приподнять ее: ведь ответили ему человеческим языком, не матюгнулись, как в былые времена. «Нельзя снимать шляпу – сильное солнце, вредно, – торопливо думал Деляров, да так и держал руку у полей шляпы, будто принимал парад проходящего строевым шагом мерина. – Значит, правда», – потрясенно думал Деляров. К правде относились слухи о Кирпикове: что на людях он больше не пьет, что притворяется бескорыстным, что собирать деньги научил жену.

– Спасибо, говорю, на добром слове, – сказал Кирпиков.

Он уже развернул мерина и шагал обратно, а мерин часто кивал, будто сообщал Делярову: пьем по ночам, деньги давай, слупим с тебя четвертную.

– Тпру, Голубчик.

Перевернув борону, Кирпиков положил на нее плуг, подошел к Делярову.

– Сейчас мне невестку провожать, так что смотрите: или подождете, или потихоньку сами начнете пахать. Сможете?

«На „вы“ назвал!» – окончательно испугался Деляров.

– Сам, сам, – пролепетал он. Снял шляпу и подставил лысину для просушки жарким солнечным лучам.

Подарочек, привезенный невесткой в этот раз, был явно недешев. Это была заклеенная блестящей бумагой пузатая бутылка.

– Французский коньяк! – объявила невестка. – Разве не оригинально, в поселке – французский коньяк?

– Ой да матушка ты моя, да зачем хоть и тратилась-то, да ведь послушай-ка, что вышло-то.

И Варвара торопливо рассказала о перемене в муже.

– Может, язва открылась? – спросила невестка.

– Есть стал лучше, все подряд.

– Вот видите, – сказала невестка, – ничего их не берет, а молодые нынче из болезней не вылезают. Может, женщину завел? Не смейтесь, мамаша, мужчины такой народ, что... У нас у одной в бухгалтерии муж выдумал, что прописали одиночный ночной режим, а через декаду застала с любовницей.

Но все-таки Варвара отклонила домыслы о женщине как нереальные.

– Делать-то мне что, ведь, матушка, приходят, деньги ведь суют...

– Деньги брать, – решила невестка. – Давайте я отвезу, положу на книжку на ваше имя. Именно на ваше, мама. Мало ли что и как в жизни.

– Конечно, конечно, – горестно поддакнула Варвара.

Стол тем временем был накрыт. Пришел и вымыл руки молчаливый Кирпиков. Сели. Невестка содрала фольгу с горла, сняла оплетку, отвинтила пробку. Кирпиков не понял сперва, что в бутылке алкоголь, но невестка гордо сказала: «Коньячок» – и назвала цену.

Варвара ахнула.

– Да-да, – сказала невестка. – И не возражайте. И я очень вас одобряю, папаша. Пейте для здоровья по рюмочке. Вначале надо согреть рюмку, лучше бы, конечно, серебряную, в ладонях, а потом... – Видя, что свекор сидит и не греет в ладонях рюмку, невестка обиженно сказала: – Вы не верите, что столько дорого стоит?

– А чего ради врать-то? – спросил Кирпиков и, полагая, что рюмка такого питья не повредит его решению не пить, сделал глоток. И тут же испугался: – Это ведь я рубль проглотил?

– Больше, папаша, больше, – засмеялась невестка.

Но не смогла уговорить Кирпикова выпить и слила коньяк из его рюмки обратно в бутылку. Сама выпила (чтоб картошечка росла!), пообедала и собралась.

– Папаша, берегите себя, – сказала она, вернее, завела свою вечную песню, – смотрите, какой высохший стали.

– Ну так как, – решился сказать Кирпиков, – Машу-то привезешь? Я бы и сам подскочил за ней. Ты же видишь, что встал на твердые рельсы. Лето поживет.

– Загадывать вперед ничего нельзя. Может быть. Я собираюсь лечиться, Коля тоже посылает, это я только с виду здоровая, а так вся насквозь больная, такие анализы плохие, – она посмотрела на Варвару, та закивала, – так что не знаю, не знаю. Надо еще дожить. Ой, не пора ли?

Как ни возражала невестка, Кирпиков накупил ей полные руки игрушек: механического робота, шагающую куклу, посудный набор. Ждать поезда не стал, говорить было не о чем.

– Что это у вас с Машей за секретик? – спросила невестка на прощанье.

– Да пустяк, – отмахнулся Кирпиков, а самого так и обдало радостью.

И тем более чтоб не делиться ею с невесткой, он чуть не прытью побежал к Делярову. Дом Делярова стоял рядом с афанасьевским, а немного ближе к станции дом Зюкиных, а еще ближе буфет Ларисы. Буфет Кирпиков проскочил с ходу, а у Зюкина застрял.

– Зайди-ко, зайди! – закричал Вася.

Кирпиков подумал: надо зайти. Давно обещал, да и собака сдохла, бояться некого.

Открыл калитку, от конуры на него... залаяла здоровенная собака. Рыжая с черными глазами. Подскочила другая, третья сидела возле груды пустых посуды и жмурилась от их блеска.

– А говорили... – начал Кирпиков.

– Та-то сдохла, – радостно сказал Вася, – в землю закопал и надпись написал, а эта... вишь, входит в доверие. Цыц, зараза! (Собака облегченно умолкла.) Значит, та-то собака, – продолжал объяснять Зюкин, – сдохла, цепь, как говорится, опростала, а свято место не бывает пусто, прицепили эту. Вот сортировкой занимаюсь. Чего только люди не пьют. – И он стал, показывая этикетки, перечислять: – Вермут – выпьешь, деньги вернут, еще называют сквермут вермут. Вот рислинг-кислинг. Солнцедар – солнцедар по печени. Вот палаческая-стрелецкая. Вишь, мужик с топором. Стервецкая еще говорят.

Собака на цепи снова залаяла, кося глазом на хозяина. Она старалась в первые дни службы поднажать, чтоб забылась предшественница. Беспривязная собака тявкнула за компанию, побежала к подворотне, никого не увидела и затыкала на цепную собаку: брешь, дура, а на кого? Собака, лежащая у груды бутылок, уснула под этот лай.

– Ты когда пахать приедешь? – спросил Вася. – Там законно вздрогнем. – Он рискованно, но картинно отшвырнул бутылку из-под полевой горькой.

– Ни грамма! – решительно отрезал Кирпиков.

– Как с простыми людьми, так уже и выпить стало нельзя? – спросил Вася.

Чтоб не обидеть простого человека, Васю Зюкина, Кирпиков объяснил:

– Не советую по двум параграфам: первое – вредно, второе – жена тебя все равно испльщует.

– Средство знаю, – сказал Вася. – Вот приедешь пахать, расскажу. Не тронет. Видал? – Он повел рукой.

И, уже уходя и торопясь, Кирпиков все же заметил кроме трех виденных собак еще четырех, да еще два щенка ползали среди зелени на подоконнике за стеклом и со двора походили на аквариумных водяных собачек.

5

Деляров замучился. Обратиться к мерину как следует он не умел. Попробовал ругнуться, но вышло так жиденько, что мерин едва шевельнул ушами, а Деляров перестал думать о пользе физического труда, и уже был готов заплатить энную сумму за пахоту, и уже не рад был, что связался с огородом, как пришло спасение.

Не успел Деляров сказать заготовленную фразу: «Ну, Александр Иванович, теперь я вас понимаю», – как мерин, заметивший свое начальство, налег так, что Деляров поволокся за плугом как на буксире.

– Попаши-ко, попаши в охотку-то, – поощрил Кирпиков и сел возле забора на корточки. – О! О! – крикнул он, не сходя с места. – Пр-ряма! Бороздой! И-эх! Так-расперепротак!

Деляров воспрянул. Он понял, что денег с него не возьмут, не платить же за покрикивание со стороны, и стал подвигивать на мерина и злобно прищлепывать по спине вожжами.

– Понужай, – одобрил Кирпиков. – Перед весной стоял в конюшне ровно печь, сейчас выработался. Ничего, в пользу.

Те оживление и радость, охватившие Кирпикова, когда невестка передала слова Маши о секретиках, прошли. Может быть, Маша просто говорила о разбитой чашке, но вряд ли привезут. Не поверят, что он живет по-новому, да и в самом деле, какое уж тут рождение. Не хотел мерина ругать, а лает чище прежнего. Курить бросил – лучше не стало, никакого облегчения. Когда болел и выздоровел и записал, что родился, казалось, что все будет как у новенького, а тут еще хуже – пахота тянется и тянется, выпивал бы, так и ускорила бы.

Мерин ленился. Деляров мученически глядел на Кирпикова, и тот, не вставая, покривал.

– Как свинья нарыла, – сказал Кирпиков в конце, – не родился ты пахарем, задницу отлягиваешь.

– Не скажите, – отвечал Деляров, – ведь я-то, что называется, практически впервые. Лошадь и упряжь казенные, сейчас нет частной собственности на подобные вещи, но ваш авторитет перед лошадью, ваше управление через окрик, которое напоминает руководство без непосредственного контакта...

– А чего пахарю-то не поднесешь? – прервал вдруг Кирпиков.

У Делярова была в заглазнике бутылка водки, и он заранее предназначал ее на вспашку, но теперь-то за что? Любопытно! Пришел, посидел, поматерился, еще и поднесите ему! Ну наглость. Выпьет да потом разлюли-любезную Варварку за деньгами пришлет. Негодяя, Деляров отправился в заглазник. «Им ничего не докажешь, – подумал он, – лучше не связываться, кровь не портить. Слава Богу, у меня гемоглобин в норме. А у них уж небось спирт по жилам течет. Никаких запросов». Копошился нарочно долго, надеялся, что совесть в Кирпикове заговорит и он уйдет. Но и Кирпикову захотелось уязвить этого дальнего человека, купившего здесь дом. «А кто в нем жил?» Уж и не помнил Кирпиков: многие уезжали. «Хоть на бутылку накажу. Ишь в пахари записался».

Смирившийся Деляров вышел, но все-таки заметил, что жидкость могла бы быть и в целях внешнего растирания, что, значит, зря наговорили на Кирпикова, что он прекратил губить себя, но раз такое желание, то конечно. Но другие не поднесли бы целую ноль пять.

– Пейте, только я не поддерживаю ваш тост.

Слегка позабытым жестом Кирпиков отщипнул жестяной колпачок.

– Вот, – суетился Деляров, подставляя банку консервов, – килька в томатном соусе. Закусывайте, но должен заметить, что рыба в томатном соусе не звучит. Хорошая закуска оседает в центрах. На местах только это.

Кирпиков поднес водку ко рту. Деляров сочувственно сморщился. Кирпиков размахнулся и выхлестнул водку на пашню.

– Чтоб росло! А это возьми поясницу растирать. – Он вернул Делярову начатую бутылку.

– А! А! – заикался Деляров. – Тут я посажу плодовой кустарник.

Вслед за водкой Кирпиков вывалил из банки на пашню и кильки.

– Правильно! – воодушевленно вскричал Деляров. – Это же так плохо действует на кислотность желудка, на отложение солей, но водку-то вы зачем? Вы, значит, стали так оригинально истреблять? Правильно, ведь все равно сквозь организм она бы вылилась на землю. Хотя в видах здоровья советуют передовые врачи. Например, марочные выдержанные сухие виноградные вина.

– В самделе, – весело сказал Кирпиков, – волокита марочное, я пока твою работу переделаю, а то смотреть противно.

Деляров заткнул водку тряпочкой и рысцой побежал в магазин. Кирпиков не стал перепихивать, мучить мерина, прицепил борону и избороновал как следует участок. Он решил больше не ехать никуда сегодня, хотя было обещано Афоне. Невестка выбила из графика.

Продавщице Оксане, конечно, донесли, что мерин ходит по одворице Делярова, и она три раза переспросила, не ослышалась ли.

– Сухое?

– Да, парочку.

– Кирпикову?

– Я посоветовал. В видах опохмелиться.

– Водку ему, обманщику.

– Подносил, на пашню льет.

– На землю?

– Можете понюхать это место.

И бабы, клявшие водку проклятую, осудили Кирпикова. Как это можно – губить добро.

Оксана подала Делярову сухое вино. Он прочел:

– «Выдержка три года».

– Да еще три никто не брал. Шесть.

Деляров рысцой вернулся. Кирпиков уже сидел, немного клонясь вперед и влево. Сердце напоминало о себе. И он старался не сердить его. Деляров проявил интерес:

– Покалывает?

«Не будешь пить», – подумал он.

– Вы знаете, у меня был оригинальный начальник. Когда прощался, то говорил: пока живи. Это у него была такая шутка. Ну вот, как пожелали: каберне.

– На вшивость проверял? – спросил Кирпиков.

Он снял красный колпачок, потревожил пробку.

Ее вдруг с силой выбило изнутри, и резкая пенная струя вырвала бутылку из рук. Бутылка срикошетила о забор, потом, шипя, улетела на афанасьевскую сопредельную усадьбу. Вторую бутылку Кирпиков открывал с любопытством. Повторилась та же история, только бутылка усвистала к небесам и больше не вернулась, наверно, стала естественным спутником Земли.

Деляров мгновенно сносился за третьей. Но открывал ее сам. И хотя осторожно стравили набродивший виноградный дух, все-таки половину вышипело. Кирпиков отпил, сплюнул, еще отпил. Еще сплюнул.

– Как вы метко выразились: на вшивость, – вздохнул, отдышавшись, Деляров. – Богат русский язык, но как встретишься с ним тет на тет...

– А ты не встречайся, – сказал Кирпиков. – Такой квас в жару хорошо. Вали еще за одной. Протрясись для пользы дела.

– Все свидетели! – закричал в магазине Деляров. – Он пьет!

– Разве это питье? – разочаровала его Оксана. – Водки ему втакарьте, все вам спасибо скажут. Ишь хочет выгородиться.

На одворице повторилась та же история. В этот раз Кирпиков угостил мерина. Мерин пошлепал губами.

– Удивительное воспитание! – восхитился Деляров. – А если бы вы поднесли смертельное питье, принял бы? Я, вы знаете, к тому, что мой начальник часто вспоминал, как царь, например, подзывает кого-то и дает выпить чашу. И тот знает, что там яд, и все же пьет. Конечно, сейчас другое, в наше время смертность сведена к нулю.

– Ты что, умирать не собираешься?

– Очень невежливо напоминать об этом.

Кирпиков посмотрел и душевно сказал:

– Я по-хорошему, не обижайся. Знаешь, взял бы ты да брякнул бы по прилавку: подходи, пей, знай Делярова! И на поминки бы не оставлял.

– И никого бы этим не удивил.

– Ты и так уж удивляешь, бегаешь, задницей трясеешь. Зря: от смерти не убежишь, еще ни у кого не получалось!..

– Я убегая не от смерти, а от инфаркта. Сейчас люди возвращаются к земле, и я вернулся. – Деляров помочил в вине язык. – Да, вы знаете, букет далеко отстает. Хотя виноградные вина потребляют долгожители. Они хорошее пьют сами, а сюда – что останется.

– У меня собака взаперти сидит, никому не показывал, сырым мясом кормлю, – сообщил Кирпиков.

– Кобель или девочка? – спросил Деляров. – И что же?

– С жеребенка. Башку откусывает в один присест. На волю рвется. Скоро дверь прогрызет. Я боюсь, ты побежишь, а она за тобой.

– Вы шутите?

– Я-то шучу, а она и не облизнется.

Бутылка, неудачно запущенная, потревожила Афоню. Бутылка дошипела возле него. Он взгляделся – на свежей пашне деляровского огорода гуляли грачи. Вот это мило-здорово! А ему он думает одворицу пахать? Но как спросишь? Это же верх невежливости – помешать выпивке.

Даже допустим, думал Афоня, что огород ему сегодня не вспашут, это пусть, но вот что обидно: Кирпиков сел выпивать с Деляровым, а давно ли с ним, с Афоней, не захотел.

Целый ящик каберне привез на перевернутой бороне Деляров. Он бодренько приматюгивался на мерина. «На всю ночь загрузуют», – понял Афоня. Спасение было в одном – помочь выпить и умыкнуть пахаря. Небрежно любуясь вечерней зарей, Афоня стал прогуливаться по одворице и, конечно, был окликнут.

– А я вас сразу-то и не заметил, – застеснялся он. – Че, маленько сели отдохнуть?

– По случаю аграрного события, – объяснил Деляров.

– Надо, надо.

– Садись, Афоня, – сказал Кирпиков.

– Да что вы, ребята, что вы, я так просто, выйду, думаю, покурю...

Отказ был обрядом, который хотя бы на скорую руку, но надлежало выполнить.

– Давай-давай, – велел Кирпиков.

– То есть, конечно, логично, – пригласил Деляров.

– Эх! – крикнул Афоня, соглашаясь. – Дураков в больнице лечат, а умных об забор калечат.



Через полчаса Афоня опрастывал уже четвертую бутылку, удивляясь слабости питья, негодую за это почему-то на грузин, хотя каберне было молдавское.

– Неужели так и пьют? И не косят? А пить да не косеть – так зачем пить? Парни, давайте остатки, пойду на водку менять.

– Меняй! – кричал Деляров, напившийся из жалости к потраченным деньгам. – Тару и нетто меняем на бутто!

А Кирпиков уже давно не пил. Морщась, он вздрагивал от шлепков Афони по спине. «Вот был мне звонок, – думал он, – и я хотел начать жить сначала, а ничего не получается, и если это никому не нужно, то у меня ничего не выйдет. Они рады, что я готов выпить, и всем лучше, что я буду как прежде, хотя прежде мне было плохо. Они отделялись от меня бутылкой, это была плата, а того, кому платят, всегда ставят ниже себя. Ведь дело не в питье, дело в унижении. Как выносили мне на крыльцо стакан, луковицу: „Спасибо вам, Александр Иванович“. Как я выпивал, шутил шутки, и вслед мне: „Ты к кому теперь, Сашка?“

Афоня сходил домой и вернулся победителем. Деляров пытался встать на голову, так как по режиму пришел час тренировки кровообращения.

– Светленькой!

– Не буду, Афоня. – Кирпиков отвел стакан.

– Лишаетесь права голоса! – снизу вверх крикнул Деляров. – Без права переписки!

– Афоня, – спросил Кирпиков, – ты купил бы мебель за три тысячи рублей?

– А кто сомневается?

– Да я.

– Хошь, – сказал Афоня, – мешок денег покажу?

– Покажи.

– Выпей, тогда покажу.

– Не буду.

– Слышь, – сказал Афоня Делярову, – брось физкультуру. Сашка не пьет, в умные записался.

Деляров встал на ноги.

– Попрошу документы, – приказал он Кирпикову и отработанным жестом протянул руку. – Попрошу. – В сумерках рубиновым светом горела багровая лысина. – Три раза не повторяю. – Лицо Делярова краснело теперь уже от усердия. – Попрошу. Разговаривать будем в другом месте.

– Со стороны кто бы сфотографировал, – сказал Кирпиков.

– Александр Иванович! – вдруг узнал его Деляров. – Мы в расчете? Попрошу расписку. В счет угощения занесите осеннюю уборку. Подпись, число. Печать необязательна.

– Так и не выпьешь? – спросил Афоня.

– Время не теряй. – Кирпиков пошел к мерину, разобрал вожжи.

– Меня спасет природа, меня оживит земля, – бормотал Деляров, садясь на борону. Хорошо, что борона оказалась книзу зубьями.

– Простынешь, – предупредил Кирпиков.

– Не вижу смысла, – отвечал Деляров.

Он засыпал. Грезилась ему широкая пойма реки, и вся – его. И идет он, Деляров Леонтий Петрович, вдоль редиски, капусты, укропа, хрена, урюка и огурцов и включает на грядках цену: 2 руб., 3 руб., 5 руб., 10, 16, 32, 700, 800 и так далее в накопительной прогрессии. Идет он, солнце светит, и уже грядок не видно, сплошные цифры, сплошные нули. „В очередь! – говорит Деляров. – В чем дело? По одному. Указываю пункты быстрого прохождения для вашей пользы: фамилия, инициалы, происхождение, род занятий. Начинаем! Кто? Картошка. Род занятий? Картошка. Происхождение? Из-за границы. В землю! Следующий! Картошка! Происхождение? Из картошки. В землю! Следующий! Картошка! Туда же! Следующий!“

Все кружилось, туманилось в сознании Делярова. Он командовал, а на самом деле покоем на холодной, губительной для здоровья весенней земле, именно той, которая должна была спасти его.

– Питухи! – презрительно выразился Афоня. – И водка есть, а выпить не с кем.

– Как не с кем? – сказал, выплотняясь из мрака, Зюкин.

– Ва-ся! Держи.

– Собаку бы мне, – сказал Вася, приняв стакан и заранее вздрагивая. – Или бы хоть щенка.

После обилия собак, виденных у Зюкина, и после такого заявления Кирпикову стало интересно, и он попросил у Васи объяснения. Тот начал издали:

– Меня с детства лупят. Отчим лапти плел, так колодкой по башке зафугачит – каждый раз помирал. Поэтому я и маленький, по голове ж нельзя бить – от каждого удара ребенок ссдается на мачинку.

– Ты короче, – недовольно сказал Кирпиков, – а то даешь вводную.

Он невольно вспомнил, что и сам под горячую руку „учил“ детей. „А меня разве не учили? – оправдал он себя. – Как еще ребра-то целы“.

Позволив себе роскошь вступления, Вася перешел к истории вопроса. История была известна: жена его бьет, когда он возвращается пьяный.

– А у меня баба дело туго знает, – весомо сказал Афоня, – я мужик молодой, денежный, и она не выщелкивается.

– Я свою раскусил, – продолжал Вася. – Она по той собаке такой траур закатила, сверх нахальства. Обо мне бы хоть вполтину так пострадала в дальнейшем. Я помянул на законном основании, захорошел, да и ушел и... не с вами добавил? Ну, не важно. Домой иду, гляжу – собака. Думал, воскресла.

Афоня хлопнул в ладоши и показал Кирпикову на Васю: артист! Поглядел с сожалением на Делярова – эх, не слышит – и пошевелил его; тот пробормотал:

– Хорошо тому живется, кто записан в бедноту...

– Будете слушать? – обиделся Вася.

– Как же! Закуси. – Афоня протянул перья зеленого лука и сказал: – Дочери дали задание: вырастить лук и с линейкой наблюдать, на сколько идет вверх. Я говорю: наблюдай, но посади побольше. – И захохотал.

– Ну так вот, воскресла не воскресла, взял на руки, тяжелая, гадина, поднес к столбу, лампочка на нем горит, гляжу – совсем не тот коленкор. А, думаю, пока разбирается, я спать лягу, лежачего не бьют. И вот, братья, – Вася тряхнул волосами, – получилось событие факта, если вру, бейте по морде лица.

– Ну!

– Собаку пожалела, меня не тронула. Я это дело задробил – сейчас, если выпью, только чтоб какую скотину чтоб с собой. На зеленый свет! – крикнул Вася воодушевленно. – Собак лучше меня кормит.

– Жить хорошо стали.

– Тут другое, – сказал Вася значительно. – Это они поднимаются до людей. Жена читала: травы поднимутся до животных, а животные до человека.

– А мы куда?

– До Бога.

– Сиди уж, Васька.

Кирпиков уж и не рад был, что остался. А выпил бы – и так же бы смеялся над Васиным рассказом, так же бы, как им, казалось, что выпивка оживляет. А в самом деле было противно. Мерин, понявший, что на сегодня пошабашили, успокоенно вздыхал.

Вася объявил:

– Начинаем наш маленький, но небольшой концерт. Мы с товарищем работали на Северной Двине, ничего не причиталось ни товарищу, ни мне, а также свое сочинение: „Посмотрите на меня, я маленьким родился, извините, господа, отец поторопился...“

Веселье разрасталось. Уже Афоня сообщил, что Васе много чести сидеть с ним, уже Деляров вскакивал и просил закрыть дверь на три оборота, уже прибежала дочка Афони, дважды он гонял ее за закуской, а под конец послал за гармошкой к Павлу Михайловичу. Но пришла Оксана и разогнала компанию. Мужа, однако, проводила без крика, и он ушел, ведомый дочерью.

Дочь, обзывая отца вождем краснорожих, говорила:

– За руль не смей, а то я знаю, что делать.

Оксана взялась за Васю, попрекая, что он тащит ей сдавать ее же бутылки.

– Критика мимо ушей, – заявлял Вася. – Ты план по стеклотаре на одном мне выполняешь. Ты лучше дай мне каку-нить живность.

– А ты-то! – упрекнула Оксана Кирпикова и, как он ни доказывал, что не выпил, не поверила.

– Да разве тебе чего докажешь? – обиделся Кирпиков.

– Ты своей Варварушке доказывай. Посылай свою страдалицу деньги собирать.

– Деньги и вещи согласно описи, – бормотал Деляров, – а также народное изречение: хрен с ём, подпишусь на заём! А также устное пение собственного творчества...

– Поднимайтесь, – говорила Оксана, – баиньки пойдем.

Кирпиков погнал мерина домой. Вдалеке раздался собачий лай, визг, потом все затихло. Видно, Вася не сплеховал...

И еще день прошел. Эти дни стояли теплые, ночью поднимался туман, заслонял лунный свет. Жалко: луна весной особенно хороша, а свет ее не доходил до земли, тратился понапрасну. Лунное сияние могли видеть пассажиры тяжелых самолетов, но им предстояло долго лететь – и они старались быстрее заснуть. Одна только девочка с русой косой, командир октябрятской звездочки, смотрела неотрывно на облака сверху – и ей хотелось спрыгнуть и покататься на лыжах. Она поворачивалась сказать отцу, но тот спал и видел земные сны. Ведущий пилот и штурман также могли бы любоваться белыми полями облаков, если бы не считали облачность помехой.

6

– Гонят нас, конец марта. Утром метелит, днем распускает. Наст режется, под снегом вода. До чего едкая! Чуть не каждый день гоняли мины топтать. Так и называлось: мины топтать. Господи, твоя воля, разберись и пойми, – говорила соседка Дуся.

– Ой, не говори, чего пережили, какую войну скачали, – подтверждала Варвара.

Они сумерничали. Все разговоры были о пережитом, потом переходили на нынешнюю молодежь, которая в их годы с мизинец ихнего не перенесла, что хоть маленько бы почитали стариков и что вообще не разбери-поймешь, чего делается: и парни охальные, и девицы – бесстыжие лица, и погода вертится, и мужики в две глотки льют, а ведь что бы, кажется, не жить: и телевизоры стоят, и в магазинах любой материи полны полки, носить не изнашивать, и пенсию выдают, но уж больно молодежь непочетники, идешь по тротуару, так и прут навстречу, так и ссарахнут. А все от атома. От него, от него, леший бы им подавился. Да атом бы черт с ним! Бога забыли.

Но какие бы проблемы ни решил женский ум, он непременно займется решением одной-единственной проблемы – проблемы проклятых мужиков. И хотя поется в частушке: это слишком много чести – говорить про мужиков; хотя и сами мужики в припадке совести

понимают, что не только разговора о себе не заслуживают, вообще ничего не заслуживают, тем не менее, тем не менее...

– Это чего же, – встрепенулась Дуся, – второй чайник додуваем, как бы не опузыреть. Дак вот чего я начала-то: гоняли мины топтать, а не пойдешь – застрелят. Детей, правда, разрешали дома оставлять. Топчите, говорят, топчите, партизанам спасибо говорите. Так умучаешься, думаешь, хоть бы уж скорее взорваться.

– Ой, не говори, ой, не говори, – поддакнула Варвара.

Она все ждала стука калитки. Но нет – привычно протяжно тянулись составы да хлопало белье на веревке под окном.

– Дак не пьет твой-то? – Этим вопросом Дуся выдала себя. Не смогла утерпеть: уж слишком высоко взлетела история трезвости Александра Ивановича и была видна всем.

Но Варвара не поддержала разговор и ответила косвенно:

– Нарасхват ведь он. На кусочки растаскивают. Пей, Дуся, конфетами угощайся. Не пишет Рая-то?

Напоминание о дочери было ответным ударом. Дуся записывала нынешнюю молодежь в непочетники именно из-за дочери. Дочь Рая не стала посылать переводы, а была должна, считала Дуся. Рая выскочила замуж внезапно, покрыла грех венцом и переводами как бы искупала его. Но время прошло, и грех, видимо, оказался искупленным.

– Пишет, – ответила Дуся, – набрала мне и себе на юбку и кофту сколько-то банлону, сама привезет, что из-за пустяков почту мучить.

Варвара вернула разговор на воспоминания:

– Мне в войну другим боком досталось. Мужик в армии. Бригадир привел во двор жеребую кобылу: береги, отвечаешь лично, никому не давать, иначе под статью, вредительство. Ошпарю солому кипятком, тямкой иссеку, отрубей добавлю, а отрубей-то! – весь амбар выползаю, косарем скребу. Все понимала, матушка, говорить только не могла. Ухожу куда, с избы замок сниму, на хлев навешу. Сберегла. И так вторую зиму. Дрова на себе, воду на себе, но трех жеребят – двух в армию, одного на лесозаготовки... Ой! – вздрогнула от стука Варвара. – Не идет ли?

Обе прислушались.

– Ветром шабаркает, – сказала Варвара и этим выдала свое нетерпеливое ожидание мужа. И поневоле поделилась: – Боюсь, Дусенька, так боюсь, лучше бы выпивал. А как скопится да прорвет, дак... – Варвара замолкла, будто отшатнулась от ужасного видения.

– Какой ни есть, – вздохнула Дуся, – какой ни есть, а мужик. А без него-то вдесятеро тяжелей. – И поджала губы.

Мнение поселковых жителей сводило Дусю с Деляровым. Она не сопротивлялась, но боялась продешевить. Неизвестно еще, кто этот Деляров, да и хочет ли он сам, – словом, курочка была еще в гнезде, яичко не было снесено, и сплетня жевала несуществующую яичницу.

Дверь, по выражению Варвары, шабаркнуло, но уже не ветром. Вошел хозяин, вошел с такой силой, что по ошибке открыл дверь не в ту сторону. Дуся, взвизгнув, исчезла.

– Где? – спросил Кирпиков бледнеющую Варвару. – Где эти сволочные деньги? Дай их сюда.

– Саня, Саня...

– Дай их сюда, пойдешь по дворам и отдашь обратно. Сейчас же!

– Их нет, – выговорила несчастная Варвара, – их невестка увезла... на твое, на наше имя сберкнижку заведет.

– Так, – сказал Кирпиков и сел.

Пока он бежал домой, пока распрягал мерина, он уговорил себя не пороть горячку. „Невестка, – подумал он, – она и тут подтакалась, она и тут...”

– А ты, дура, – спросил он, – отдала? Ты, безмозглая, ходила по домам, меня позорила. На это у тебя ума хватило. Ум у тебя в два пальца. Муж не пьет, не курит, мало?! – Он посидел, обвел взглядом чисто прибранную теплую избу. – Забирай свои хунды-мунды и катись к своей невестке.

– Убей, не поеду. Выгони, ты сильней. – Варвара чуть не плакала. Муж сидел мрачно и неподвижно, и слеза в голосе не понимала его. Тогда Варвара пошла в наступление: – Не имеешь права выгонять, дом на мне записан.

На ком был записан дом, они оба не знали, но Варвара знала закон – человеку без жилья нельзя. Но и это не прошибло Кирпикова. Он достал с полатей дощатый чемодан-сундук. В чемодан полетели платья, туфли (одна пара), полушалок, халат. Комкая халат, Кирпиков поглядел на Варвару, в чем она. Она была в халате.

– Расплодились, – сказал он о халатах. А по адресу зимнего пальто заметил: – В руках понесешь.

Варвара причитала:

– Только стали жить, детей на ноги поставили, нет, давай людей смешить. Не надо мне ничего, не складывай, голая уйду, будто я с них деньги спрашивала, сами суют.

– Не брала бы. – Кирпиков не забыл про мыло и полотенце, а последней снял и положил икону.

То, что Кирпиков подал голос, поощрило Варвару.

– Суют! На порог подкидывали... Да много ли и денег-то было, да чего и стоят нынешни-то деньги...

Чемодан не закрывался. Кирпиков думал, что из него выкинуть.

– Больше не деньгами, а вином приносили.

– Где? – спросил Кирпиков, отодвигая чемодан.

Птицей полетела Варвара в чулан и стала носить бутылки. Набралось изрядно, далеко за десяток. Бутылки светлого стекла хрустально сверкали, темного – отливали лазурью.

– Богатство.

Муж снял с гвоздя караульную берданку, взвел ударник.

– Стреляй, – сказала Варвара, – ни в чем я не виноватая.

– Отойди.

Прицелился в батарею бутылок. Щелкнул боек. Осечка.

– Люди сбегутся, – сказала Варвара.

Вторая осечка. Сменил патрон. Снова осечка.

Ярость, до сих пор сдерживаемая, выхлестнулась, и Кирпиков, перехватив берданку за ствол, пошел на бутылки врукопашную. Первым же ударом смел всю батарею. Брызнуло стекло, полилась водка, сивушно запахло.

Одна неразбитая бутылка покатилась под ноги Кирпикову. Он добил ее, как змею, прикладом сверху вниз. Только тогда берданка выстрелила. Оба посмотрели в потолок.

– Точка, – сказал Кирпиков. – Дай сюда паспорт.

Пока Варвара рылась в комод, он хотел закурить. Руки тряслись. Он бросил горящую спичку в лужу водки. Спичка не спеша погасла. Он зажег другую спичку и уже специально стал поджигать водку. Не загорелась.

– Делают дерьмо, – сказал Кирпиков.

Варвара протянула ему оба паспорта. Он раскрыл паспорт жены на чистой странице. Взял ручку, крупно написал: „Свободна“. И подписался.

– А убился бы? – спросила Варвара и заплакала от испуга.

С ней сделалось плохо, и Кирпиков стал отхаживать ее, побежал за водой на кухню, зацепился за чемодан и чуть не упал на осколки бутылок. „Виски бы водкой потереть, – подумал он, – и взять-то ночью негде“.

На людей, как доказано, все влияет: расположение звезд, активность солнца, поведение луны. Может, этим объяснялось то, что Дусе не спалось. Она вертелась с боку на бок, вставала, зажигала свет и глядела на будильник. Думала о Делярове. Тот чувствовал это, спал плохо, вскакивал, пытался блудливо критикнуть порядки и все рассаживал картошку, а та, что была посажена раньше, уже начинала прорастать.

Доставивший домой очередную собаку Вася Зюкин спал на полу, не достигнув кровати. Перед сном он успел оскорбленно подумать: „Как собака, так пожалте мыться, а как мужик, так хоть бы поесть чего дала“. В благодарность за приют вымытая новоприбывшая собака подползла и подсунула себя под голову Васе вместо подушки. А на животе у него устроились сытые, крепнущие щенки из прежних приносов. Вася сгребал их вбок, но щенки упорно лезли на теплое место, заодно закаляя волю.

Плохо спалось и супругам Афанасьевым. Афоня время от времени поднимал голову и задавал жене любопытный вопрос:

– Тут, кроме тебя, еще другой бабы нет?

Холодеющий воздух носился по поселку, обветривались свежие пашни, зябла в земле картошка. Потревоженные черви восстанавливали свои катакомбы.

7

Наплюйте тому в бесстыжие глаза, кто скажет, что женщины ненасытны, что им много надо. Что им надо? Да ничего – одну заботу. Вымоешь в понедельник посуду – жена рада до субботы. Другая, правда, заботой считает жертву всем ради нее, но, повторяем, достаточно заботы.

„До самой бы смерти так“, – думала Варвара, глядя, как растерянно хлопочет муж. Ищет градусник, не находит, бежит на кухню и забывает, за чем бежит.

– Мать, тебе грелку на ноги или льду от Дуси из погреба принести?

– Сядь, Саня, сядь.

Когда мы боимся потерять друг друга, мы умнеем. Мы не вечны, надо дорожить друг другом, но увы, увы! Свои планы всегда кажутся нам важнее, и не посылаются ли нам болезни как напоминание о том, что мы не вечны? Сколько слез пролито из-за нас, мы бы захлебнулись в этом море, но, снова и снова прощенные, мы снова и снова пытаемся чего-то добиться, не понимая, что нужнее всех покоренных вершин радость дня.

– Все хорошо, Саня, сядь.

Кирпиков обессиленно сунулся в изножье кровати.

– Лекарь, – засмеялась Варвара, – с такими-то лопатами.

– А их не отмыть, не отпарить, – ответил Кирпиков и посмотрел на свои тяжелые сухие руки. Согнутые, будто специально, чтоб к ним приходились и топор, и лопата, и пила, и соха, и багор-пиканка, и вилы... да начни только перебирать – на третьем десятке не собьешься. И все приходилось к его рукам, любой инструмент давался ему. – А у тебя что, лучше? – Он протянул Варварину руку, уже немного дряблую, всю в неровных напухших венах.

– Сравнил! У меня до костей простираны.

И Варварина рука была согнута, и тоже навсегда. То же самое, каким только инструментом не продлялись ее руки – и ухватами, и сковородниками, и коромыслом, и всякими лопатами: железными, деревянными, хлебными; граблями да теми же вилами, тем же топором, той же сохой.

Уж и поработали Александр Иванович и Варвара Семеновна на своем веку.

О, не одно европейское государство разместилось бы на поле, вспаханном Кирпиковым, какой альпинист взобрался бы на стог сена и соломы, наметанный Кирпиковым, какой деревянный город можно было выстроить из бревен, им заготовленных, сколько товарняков

нужно было б, чтоб перевезти дрова, напиленные и расколотые им за всю жизнь, сколько людей согрелось бы у тепла этих дров!

А Варвара? Сколько перестирала она одного только белья – веревка сохнувших детских постирушек, мужниных рубашках опоясала бы земной шар; студеной воды, перетасканной ею, хватило бы налить большое озеро.

Только нет такой статистики, нет такого огромного поля, такого поднебесного стога, такой растянутой по экватору веревки с бельем, нет такого озера.

Они вдруг застеснялись, чего это ради разжалелись друг друга: жизнь прожили, никогда такого не бывало. Но этой весной каждому пришлось ощутить угрозу одиночества и испугаться его.

Кирпиков обратно разбирал чемодан, выкладывал назад Варварино имущество. Взяв икону, засомневался: при своем безбожии и при том, как час назад он ее в сердцах хватанул, как было ставить на место?

– Из-за тебя ведь только и молилась, – тихо упрекая, сказала Варвара.

– Ну теперь-то? – спросил Кирпиков. Он кашлянул. – За меня больше незачем молиться, пить кончено. Терплю. Это такой подвиг, мать! Заново родился!

Кирпиков подумал и отнес икону на полати, а место на божнице занял фотографиями детей и внуков. Внучка Маша встала в центре.

– Молись! – весело сказал Кирпиков. – Вот бы Машку совсем к нам!

– Какая мне еще Маша? – сказала Варвара, переживающая замену иконы. – Я свое досытечка отнянчила, отрожала. Это мимо тебя дети проскочили: работа да война, тебе и хочется поводить с маленькими, тебе она вместо игрушки, а питание, а купание, а заболит? Нет, нет, все! Отдоилась я, довольно.

– Ладно, мать, – примирительно сказал Кирпиков. – Ладно. – Он стал сгребать осколки к порогу. – Одно хорошее в этой водке, – сказал он, – пятен не оставляет.

Варвара пересилила себя и встала. Замела стекляшки к печке. В жестяной отдушине шумело. Ветер хлестал ветками по окнам.

– Бьется погода, – сказала Варвара. – В погоде – что в народе.

И оба невольно подумали о детях: как они?

– То-то у меня поясница давала знать, – сказал Кирпиков. – Я думал, сохой натрудил, а это к перемене погоды. Совсем барометром становлюсь.

– У меня тоже позвонки ломало.

– Да у тебя вечно что-нибудь, – привычно сказал Кирпиков, но осекся: жена больна, да и, видно, прошло время, чтоб лаять чего-то не подумав.

Никогда раньше не думал, что и как говорить при жене, – не на трибуне, а вот, оказывается, как переходят на него же обратно его слова. Сделал жене плохо, и самому больно. Как будто стала нервная система одна на двоих.

– А мне когда плохо, – отвлекла его Варвара, – я всегда сенокос вспоминаю. А, Иваныч? Сердце-то от радости так и росло!

На сенокосе он всегда шел впереди, рассекая поляну надвое, за ним Варвара, а дальше, все суживая прокосы, косили дети. Младшенькая, еще не доросшая до литовки, растрясала валки и старалась успеть за всеми. Она приносила воду из родника-кипуна. Чайник вытягивал ей ручонку, холодная вода плескалась на исцарапанные коленки.

Кирпиков помнит, как он дошел до конца поляны, за ним докосила Варвара, наступавшая на пятки. Кирпиков наточил литовку и хотел начинать новый ряд, на свал. „Вот неналомный, – сдержала Варвара, – дай хоть отдохнуть-то. – Оглянулась и вдруг шепотом: – Отец!“

Он тоже оглянулся – дети догоняли их. Третьим рядом шел Николай, размашисто, по-мужицки укладывая траву; за ним Тоня, берущая нешироко, но чисто; дальше Борис, закусивший губу, нервничающий, чтоб не отстать; последним тюкался Михаил, прокосы вел

неровно, маленькая литовка прыгала, все кочки были его. Всех сзади мелькало платьице младшенькой.

Варвара не стерпела, побежала помочь. Но никто не уступил ей свой ряд.

8

Почтальонка Вера брала по утрам свою сумку и, придерживая ее рукой, бегом разносила почту. Привычка к бегу осталась от тех времен, когда поселок был еще большой, а дети Веры были маленькие, и она торопилась к ним. Стали дети большими, разъехались, разъехались и у других. Подействовало и то, что леспромхоз перевели дальше на север. Поселок сгрудился около станции – и его можно было легко обойти пешком. И в дом не к кому торопиться, пусто, но – инерция – все равно Вера привычно бежала, торопливо махая свободной рукой, как бы увеличивая этим свою скорость. „Куда это я бегу?“ – думала она, проскочив поселок насквозь, и бежала обратно.

Вера первой узнала о торжестве у Кирпиковых и первой разнесла эту новость по домам. Зовут тех, говорила она, махая рукой, у кого Кирпиков пахал одворицы.

– Всем пахал дак, – говорили ей, – всех, что ли, зовет?

– Велели любому говорить: приползи, да приди.

Деляров долго чистил полуботинки. С утра он не бегал ни рысцой, ни трусцой, потому что из вчерашнего веселого вечера запомнил одно: Кирпиков научил собаку преследовать убегающего. Это надо проверить. Если собака есть, то реагирует ли на убегающего? Вообще Кирпикова за подобные шуточки надо привлечь куда надо.

Дуся тоже прихорашивала свою обувь и вообще всю себя, но цели ее были иные. Пора было доказать дочери, что ее мать умеет жить, и дать наконец дочери возможность произнести слово „папа“.

Зюкин обувь не чистил, считая это роскошью. „Если я хуже собаки, то зачем?“

Ботинки Афони сорок последнего размера почистила жена Оксана.

Из прочих приглашенных явились: почтальонка Вера, суетливо начавшая помогать Варваре и разбившая уже пару стаканов (привыкшая к звону стекла, Варвара удивилась бы, если б ничего не били); фельдшерица Тася, по фамилии мужа Вертипедаль (она тоже начала помогать); ее муж счетовод Павел Михайлович Вертипедаль; буфетчица Лариса, женщина необъятная, но энергичная; и продавщица Оксана. Не явились: жена Зюкина (она вообще сторонилась всяких обществ); лесничий Смышляев (его по причине удаленности не звали); лесник Павел Одегов; стрелочники Зотов Алфей Павлинович и его тихая жена Агура, происхождением староверы (не на кого оставить дорогу); глухой пенсионер Севостьян Ариныч и дочь его Физа и прочие.

В передней комнате хозяин занимал гостей.

– В подкидного! – объявил он.

Сели в дурачка. Трое на трое. Первая команда: Афоня, Деляров, Оксана; вторая: Кирпиков, Зюкин и Дуся. Начались обычные присловья:

– Карта не лошадь, к вечеру повезет.

– Дама, за уши драла.

– Король, за уши порол!

– Туз, по пузе буц!

– Леонтий Петрович, вы карты держите так, что в них выспаться можно, – предупредила Лариса. – Я не играю, но должно быть честно.

– Да кому это надо подглядывать? – возмутилась Дуся.

Она оттого, скорее, возмутилась, что противная Лариса как-то фасонисто, по-городскому ломает язык. Пе-ет-ро-вич! Ишь! Дусю осенило – а ведь приберут мужика. Она торопливо подвела свою команду и поздравила Делярова с победой.

– А вы, дурачки, – сказала она партнерам, – тасуйте колоду.

Партнеру Зюкину было привычно сидеть в дураках, а Кирпиков был настроен благодушно. Раздавал карты и шутил:

– С дураков меньше спросу. На умных воду возят. О, козыри крести – дураки на месте.

И точно: Дуся благополучно предала свою команду еще раз. Она подпихнула Делярову козырную крестовую даму – мрачную брюнетку, – и Деляров дал полный отбой.

– Вам, Леонтий Петрович, сплошная везетень, а уж мне не везет в картах, так хоть бы в любви повезло, – пожелала себе Дуся.

Тут уж Лариса увидела в ней соперницу. Но легкомысленно не поняла опасности. Что может дать Дуся? Работу на приусадебном участке? А к Ларисе приходи в буфет и сиди до закрытия и после. Какое может быть сравнение?

Между тем поспел стол. Но женщины вначале пошли навести красоту. На кухне Варвара показала отбитые горлышки с целехонькими колпачками.

Оксана попросила их себе. У нее есть процент списания на бой, и эти горлышки пригодятся. Но вообще, конечно, Кирпиков-то как бы не того. Женщины посмотрели на Тасю. Тася объяснила, что того или не того, это устанавливают в области. Даже в районе редко. Но вот она поедет за лекарствами и зайдет к психиатру.

С тем и вышли к столу. Пока разливали, успели поговорить, что погоду крутит, но дождя нет, а хорошо бы, в самый бы раз на посаженную картошечку-то.

Встал хозяин дома. Он готовился сказать красиво, но только и сказал:

– Прошу выпить и закусить.

Надо было ему хотя бы чистой воды в стакан налить, хоть что-то поднять. А то странно получалось: хозяин не пьет, а гости, значит, угощайтесь сами.

– За все хорошее! – сказала Дуся и чокнулась с Деляровым.

Деляров сегодня не сопротивлялся. Красные прожилки на щеках и носу, проступившие вчера, просили освежения. Он выпил, Дуся пригубила. Вася долго озирался и не пил. Но за окном чирикнул воробей, и Вася подумал, что можно ведь и воробья поймать. И выпил. Об Афоне и говорить нечего.

Стали закусывать. Кирпиков не выпил, ему есть не хотелось. Готовая речь вдруг подперла, и он встал.

– Наши дети должны знать, из какого корыта ели первоначальную пищу. – Кирпиков хотел сказать о краях отцов и о дедовских могилах, но сбился: упоминание пищи из корыта прозвучало не к месту.

Вечеринка пока не ладилась.

– Эх, – задорно сказала Дуся. – Девяносто песен знаю, а молитвы ни одной! – Ей хотелось петь, танцевать, веселиться.

Влюбленные как-то забывают, что во все века любовь мешала жить нормальным людям. Например, Варвара очень осудила Дусю. „Доложилась! – подумала она. – Еще не допили, еще не поели, а уж за пляску“.

Но любви и кашля не утаишь.

Павел Михайлович Вертипедадь, пришедший с гармоникой, сидя в зауголье стола, степенно наедался. Степенно заметил:

– Вот, Дуся, запомни: сколько здесь за столом посидишь, столько и в раю.

– Голодному цыгане снятся! – крикнул Зюкин.

– К убытку, – сказала Дуся и с вызовом посмотрела на Ларису.

Хорошо мужикам соревноваться – кто кого перепьет, тот победил, а бедным женщинам? Пьешь – осудят, совсем не пьешь – осудят, поешь – значит, выхваляешься, пляшешь – высовываешься. Как себя показать? Как свалить супостаточку-соперницу?

– Ну, громадяне. – Павел Михайлович поднял стакан. – Предлагаю за одну горечь.

Дуся заслонила стакан – не надо.

– Тебе для дури запаха хватает, – сказала Лариса как бы в шутку.

И Дуся приняла это как бы в шутку, но мысленно отметила выпад.

Вечеринка пошла нормально. Уже Зюкин пробовал пропеть: „Привезли да и рассыпали осиновы дрова, это все, – он обводил всех рукой, – это все интеллигенция со скотного двора“, уже Павел Михайлович Вертипедадь отлаживал звоночки гармоники, Дуся постукивала каблуком, Варвара скатывала к печке половики, а хозяин сидел на кухне.

Не один. Его донимал Афоня.

– Так и запишем, – говорил Афоня.

– Так и запиши, – терпеливо повторял Кирпиков.

– Значит, работал концевик? Учти, добром не кончишь.

– Учту.

– Значит, ты утром встал и пошел жить, а нам до одиннадцати ждать?

– Никто не заставляет.

В передней зазвенели колокольчики.

Делярову и не снилось, что за него началась борьба. Он сел рядом с Зюкиным и начал толковать ему, что в погребке у Кирпикова – взаперти! – сидит невинная душа.

– Я тоже от жены в сарае спасаюсь, – отвечал Вася.

– Но это душа не человечья, а животного.

– А она меня тоже за скотину считает.

Первой ударила дробью Лариса и критикнула нынешние нравы:

Раньше были кавалеры —

Угощали карамелью.

А теперь молодежь:

Напинают – и пойдешь.



Дуся вплыла плавненько, начала хитренько, будто совсем не интересуясь любовью:

Председатель на трубе,
Бригадир на крыше.
Председатель говорит:
– Я тебя повыше.

Тут и Васина музыкальная натура не стерпела. Он сунулся в круг и стал мешаться под ногами:

Где ни пели, ни плясали,
Всюду девки не по нам.
Задумчивый мой товарищ,
Лучше выпьем по сту грамм!

Пошли было Вера и Тася, но быстро сшиблись, и остались на кругу две соперницы.

– Отец! – говорила Варвара, придя на кухню. – И ты, Сергей, чего вы здесь, айда-коте в комнату, больно добро девки-то распелись.

Радостная, она под музыку вспомнила подходящую ей частушку: „Я плясать-то не умею, покажу походочку. Мой миленок пить забросил распрокляту водочку“, – но осеклась: неизвестно еще, чем с „миленком“ кончится.

Состязание в передней накалялось. Грузная Лариса как будто легчала на килограмм с каждой частушкой. Дуся, наоборот, худая, тяжелела, но не сдавалась.

Лариса пошла в открытую:

Я свою соперницу
Увезу на мельницу.
Мели, мели, мельница,
Вертись, моя соперница.

И лихо рассыпала дробь. Дуся попыталась поправить положение:

Я и пела и плясала,
А меня обидели:
Всех старух порасхватили,
А меня не видели.

Все-таки счастье улыбнулось Ларисе. Она, легко прогибая половицы, подпорхнула к Делярову и стала его вызывать. И хоть он и не вышел, но уважение показал, встал и потоптался.



Дуся подскочила к гармонисту, отбила такт и заявила:

За веселье, за гармошку,
Ой, спасибо, играчок.
Наигралась и напелась,
Так зачем мне мужичок?

И достойно вышла из круга. Лариса же, показывая, что может плясать бесконечно, вызывала по очереди всех кавалеров. Никто не поддался. Вышел, правда, Павел Михайлович. За гармошкой его заменил Афоня. Но плясал Павел Михайлович не азартно, работали только ноги, сам был как деревянный и напряженно смотрел вдаль, будто ждал спасения.

– Туфли ты мне, Оксана, подтакала плохие нарочно, чтобы я ногу сбила.

Вот на что свалила Дуся свое поражение, на туфли, купленные в магазине Оксаны. Дуся жалела, что в пляске не вспомнила частушку, которую так бы в лицо и вылепить этой бочкотаре:

Ты его мани-заманивай,
Я песни буду петь.
На твои колени сядет,
На меня будет глядеть.

Но время было упущено.

Глядя на пляску, Кирпиков испытывал двойное чувство: ишь напились, скачут, но скачут хорошо.

Пошли за стол по второму заходу. Афоня уселся рядом и продолжил свои разговоры.

– Ты был мужик от и до. От и до. С тобой можно было поговорить и посоветоваться.

– И говори.

Афоня посмотрел на Кирпикова как на ненормального.

– Как же говорить без выпивки?

– Не с кем стало выпить, вот что. Всего-то?

Кирпиков хотел наговорить Афоне упреков, но сдержался, отсел от него и, возвращая естественный ход вечера, запел „Хас-Булат удалой“, а там пошли „Что стоишь, качаясь, тонкая рябина?“, и, конечно, „Что ты жадно глядишь на дорогу?“, и, конечно, „На Муромской дороге“, и, конечно, все ямщицкие, и, конечно, „Враги сожгли родную хату“. Тася так звенела, хватала такие верха, так солидно гудел Павел Михайлович, что никто не заметил, что в общем хоре не хватает двух голосов.

На крыльце шел разговор как раз в эти два голоса.

– После обеда полежи, после ужина походи, – говорил мужской голос.

Женский отвечал:

– Конечно, вы мужчина кубатуристый, в вас много войдет, это надо понимать и ухаживать, а то корова расплясалась и вас дергает. Надо же понимать, человек – сердечник.

Дусе, это была она, хотелось окончательно уничтожить Ларису перед Деляровым. С ним она стояла.

– Знаете, как ее зовут? Заврыгаловка. Это же ужасно. До такого сраму дойти. А чуть чего – на пару с Оксаночкой через все решета протрясут, обсплетничают, все кости обмоют. А я никого не держу, ни за кем не бегаю, но вас, вас жалко, как они хитро вас обурали. А вы еще такой доверчивый. И хозяин, этот пьюха! Вчера бутылки бил, я говорю: Тася, проверь, может, его опасно здесь держать.

Деляров вдруг повернулся к Дусе:

– Это правда, у него есть большая собака?

– Не знаю, – разочарованно ответила Дуся. Она думала, что Деляров решил ее обнять. – Хотите выпить? – интимно спросила она. – Я принесу. Пусть они там сидят. Много им чести с вами сидеть.

Пока она бегала, Деляров боязливо косился в сторону двора. Там была конюшня, и когда мерин переступал на полу, Деляров думал, что это такая порода собак – с копытами.

– Вот она, из Москвы приперлась! – объявила Дуся о своем возвращении. – Сперва я сама проверю, не отравлено ли. Оп! – она отпила. – А теперь отсюда же... тyani! – Она резко перешла на „ты“.

Порция была великовата, но в Делярове сработал инстинкт исполнителя. Он выхлебал содержимое.

– Закуси!

Он счавкал то, что дала Дуся, и даже не понял что. Дуся тихо смеялась:

– Мы как нынешние: хлоп – и на брудершарф.

– Что он сделал первым делом? – громко спросил Деляров. – Я спрашиваю, что он сделал первым делом по случаю войны? Он запер в туалете машинистку, чтобы не утекла тайна.

– Простудишься, – ласково говорила Дуся, набрасывая петли шарфа на шею Делярова. – Я как выскочу с голым горлом, так неделю отгрохаю.

Она слегка затянула шарф. Деляров качнулся к ней. И как получилось, непонятно, только они обнялись. „Леонтий!“ – сказала она, и он, трусливо трезвея, поцеловал ее. Потекло молчание. Из дома донеслось: „Не осуждай несправедливо, скажи всю правду ты отцу...“

– Если мы сказали „а“, то должны сказать „бэ“, дойти до „вэ“, – сказал Деляров, – и вообще проделать всю азбуку.

– Леонтий, – как решенное сказала Дуся, – Кирпикову больше подносить не будем, вспахать ты и сам вспашешь. Ты же с меринком справишься. Вчера в магазин приезжал.

– Конечно, справлюсь.

Из дому через порог выпал Вася Зюкин. Деляров вспомнил свои опасения, поднял Васю и втолковал ему, что у Кирпикова есть собака. Вон там. Стучит лапами.

– Какая собака? – спросила Дуся. – Ты что, Леонтий?

– А стучит?

– Это в конюшне, мерин.

– Все, ребята, – сказал Вася Зюкин. – Мне конец. Эх, если бы хоть бы птичку. – И он стал подсвистывать голубей. Или воробьев. Кого получится.

Пьяные кажутся себе остроумными, способными на житейские и любовные подвиги, но на трезвый взгляд они смешны и придурковаты. А может, они и пьют оттого, что не сильные, не остроумные? Может, это и надо, чтоб человек подумал о себе лучше, чем есть? Как знать. Задолго до смутных времен сказано: „Бог нашей драмой коротает вечность. Сам сочиняет, ставит и глядит“. Но у него-то вечность, а у нас?

Напевшиеся женщины пошли обсуждать, как жить Варваре дальше; за столом остались мужчины. Павел Михайлович отключил звонок и подыгрывал только голосами. Он пел сам для себя грустную песню своей молодости:

Еще косою острою трава в лугах не скошена,
Еще не вся черемуха тебе в окошко брошена...

– Я тебя понимаю, так как уважаю, – говорил Афоня и все придвигался к Кирпикову. Тот соответственно отодвигался. Вскоре диван кончился, и пришлось говорить стоя. – Я тебя понимаю, ты встал на подзарядку. Но ты объясни почему?

Вернулся Деляров, спросил, есть ли чего с морозца. Уже все кончилось. В прежней своей жизни Кирпиков со стыда бы сгорел, что гостей не упоил вусмерть, а тут, наоборот, подумал: хватит. Хуже худшего опротивели ему пьяные Афоня, Вася да и Деляров.

– Где женщины? – спросил Кирпиков. – Куда разбрелись? Плясать и петь перестали.

– С чего петь? – нагло спросил Деляров.

– Ты с ним не говори, – заявил Афоня, – у него не все дома.

– Точно, не все, – сиротливо сознался Кирпиков. – Детей нет, внуков нет. Так мне и надо.

Женщины на кухне дотолковались до того, что Варваре теперь будет не жизнь, а каторга, а когда она в простоте душевной показала паспорт с надписью „Свободна“, было решено – вот кукиш ему. Не пьет, не курит – это его дело. Такой дуры не найдет, чтоб все его дикости терпеть. И как только ему, седому бесу, дикотолону не стыдно! Не мог раньше вывихнуться, нет, он вначале чужую жизнь переехал, все соки выпил, да и вообще все мужики такие. И собрать бы их всех в одно место и бомбу бы бросить. Эх-хо-хо, жена да муж – змея да уж.

– Редко-редко бывают исключения, – вставила Дуся. Она вернулась с улицы посвежевшая от вечерней прохлады.

– Ой, а что это мы мужчин забыли? – сказала Лариса.

Пошли в комнату. Навстречу женщинам, пытаясь их облапить, пошел Афоня. Все увернулись, только Дуся не успела, застряла, но тут же стала выкручиваться. Афоня положил освободившиеся руки на гармонь. Стало тихо.

– Сейчас Сашка сказал, – объявил Афоня, – что у него не все дома.

– Эх, – сказал Кирпиков, – как смешно, не все дома. А у вас? Вспаханы у вас огороды? Посажено? Что еще? Копать? Выкопаю.

Гости начали расходиться. Павел Михайлович ушел с музыкой и увел Веру и Тасю, Афоню увела Оксана. Хотя Оксана публично и осуждала Кирпикова, но втайне мечтала, чтоб и ее муженек взял пример с Кирпикова. Горлышки бутылок с целыми колпачками Оксана не забыла.

Сложнее всех получилось с Деляровым. Он перепугался так, что Дуся предложила ему переночевать у нее. „Домой“, – шептал он. Дуся и Лариса подлезли под его руки с двух боков и повели. Далеко у переезда затихала гармоника Павла Михайловича. Деляров сползал с плеча Ларисы и валился на более низкую Дусю. Пришли. Ни одна из женщин не решилась бросить его. Обе самоотверженно дежурили всю ночь. Поправляли подушку, совали питье, капли, растирали ноги, делали массаж, клали на лоб мокрую марлю, мерили температуру – словом, замотали Делярова к утру окончательно, замотались сами и только на рассвете уснули.

А с Васей случилось вот что. Жена его при настольной лампе читала книгу „Служебное собаководство“. Вся свора дружно дрыхла. В дверь стали робко царапаться и скулить. Жена подумала, что вернулась с улицы последняя собака, и открыла. Вася Зюкин побежал на четвереньках к окну и завыл на луну.

– Фу, – строго сказала жена и стегнула его ремешком. Она прочла в книжке, что излишняя нежность вредит нашим четвероногим друзьям.

А хозяева? Кирпиков сорвал накопившуюся за вечер злость на Варваре. Ну, если чужие не понимают, должна хотя бы жена оценить, понять, каких усилий стоит прекращение одурманивания табаком и выпивкой.

И Варвара, только и ждавшая ухода товарок, чтоб рассказать своему Сане, чего они тут плели, плели, конечно, от зависти, а она не поддавалась, тоже обиделась на мужа. И было с чего. Пошла на ночь лоб перекрестить, а на что? Иконы нет. Высунулась в окно – хоть бы одна звездочка.

– Ну смотри, Саня, все отольется. Ну смотри. Я думала, не пьет мужик, домолилась, допросилась, пусть Бог от меня отдохнет, – нет, видно, тебе, лешему, ничего не дорого. Да будь ты лучше пьяней грязи да живи по-людски.

– Пил – не считала человеком, перестал пить – опять не человек? Как же! Сашка-конюх да вдруг всегда Александр Иванович.

– Пей, да в меру.

Но что такое мера? Где она? Давно сказано: душа – мера, а душа у нас без берегов.

Ночевал Кирпиков на сеновале. Внизу отдыхал от страды Голубчик, сверху шуршал по крыше мелкий рассеянный дождь. Нет ничего лучше этих ночей. Сколько их было, много, кажется, а ни одна из них не продлилась.

9

Этот легкий, успокаивающий нервы дождь был первым и последним в этом году. Лето выпало нестерпимо жарким.

В зареке горели торфяники. По утрам небо затаскивало серым дымом. Солнце вставало рано, но поднималось медленно. Сквозь дым оно выгляделось красным. Светло-серые шиферные и выбеленные временем деревянные крыши нехорошо розовели, воздух стоял палевый. Курицы прятались, собаки бесились, старухи предрекали войну.

Но поезда шли точно по расписанию, мчались так же резво, колесные пары промелькивали так быстро, что заслоняли просвет под вагонами. Много пыли поднималось и несло вслед.

В лесу было тихо. Шиповник, рябины, елочки и все, что стоит с приходу, было в пыли как в цементе. Пересохшая трава ломалась и сама превращалась в пыль.

– Дождлся Африки? – поддевала мужа Варвара.

Лесник Пашка Одегов, приезжающий за едой, передавал, что огонь понизу идет к питомникам, что остановить его – задача невероятная, что льют жидкую глину, копают канавы, но все без толку.

Лесничий Смышляев с ног сбился, не разувался по неделям – шутка ли, такая жара, были случаи, что хватало искры из-под колеса. Отгребали все, что может гореть, от полотна, чистили лесосеки. Курили в рукав. Смышляев исхудал, выскался, по выражению Варвары.

А вот Кирпиков от жары раздался. Он тяжело переносил ее, ничего не мог поделывать, толстел. Это Кирпиков-то, худыр – восемь дыр, раздобрел. Но и вернуться к курению не тянуло. Столько ночей, особенно ближе к утру, он надсадно откашлял. „Опять дрова рубит“, – жалостливо думала Варвара. Передвигаться Кирпиков стал медленнее. Лицо разгладилось, видно, лишняя кожа ушла на живот. „И с чего тебя так разносит, батюшко? – спрашивала Варвара. – И ешь вроде немного“. – „С голоду пухну“, – отвечал муж.

Из других новостей были такие: всех собак жена Зюкина выгнала. Они разбежались по дворам, лаяли без разбору, от жары бесились. Может, не только от жары, но и оттого, что кончилась беспечальная жизнь. Ночами они перелаивались и корили друг друга – и чего было ссориться у общего корыта? Всем бы хватило. Все жадность наша, все раньше других надо, вот и получай. Нет, не умеем мы ценить хорошее, лаяли собаки и сговаривались пойти к Зюкиным с повинной. Но выгнали их вовсе не из-за грызни у корыта. Это объяснилось

тем, что Вася один заменил всех. Он сам занимался по учебнику, вдобавок ему не надо было отдельно готовить, ел то же, что и хозяйка.

Любовный треугольник Дуся – Деляров – Лариса не распался. Деляров ходил по графику обедать то к одной, то к другой. Иногда женщины сговаривались и делали общий обед. Деляров позволял себе капризы. Он бросил бегать и рысцой и трусцой и выцганивал поочередно у влюбленных по четвертинке.

Любая новость приедается, и к этой привыкли. Оксана даже с радостью: ее подозрения, что муж похаживает к Ларисе, исчезли, и она крякнула и денежкой брякнула – заказала привезти цветной телевизор. Рассчитала точно – Афоня пристрастился смотреть футбол и выписал со второго полугодия несколько спортивных изданий. К нему приходил Павел Михайлович Вертипедаль. За месяц они стали знатоками не хуже Озерова и мечтали почитать мемуары Пеле и Круиффа.

Тася тоже ездила в район за продуктами, заходила к психиатру, но он был на совещании, а ждать было долго. Да и зачем? Кирпиков на людей не бросался, в справке, что ударит и не отвечает, нужды не имел, и Тася, переночевав у деверя, вернулась в поселок.

Главное страдание Кирпикова было даже не в жаре. Не привезли Машу, а ведь это было ее последнее лето перед школой. И хотя и других детей почти не было в поселке, Кирпикову казалось, что невестка специально не пускает Машу к нему. В пивную Кирпиков не ходил, дни казались долгими. Он слонялся по дому, брался за тетрадку, в которой в апреле записал о своем втором рождении. Ему по-прежнему хотелось оставить свое жизнеописание. Начав уважать себя, он и жизнь свою представлял более значительной, чем раньше. Еще бы – он помнил лапти и ходил в них, а вот уж человек ступил на Луну, вот уж и сердце чужое стали вставлять, вот на заморозку людей кладут. Конечно, все эти свершения были достигнуты без него, и на Луне бы побывали, не будь Кирпикова вообще, но взять поближе – он помнил конную вывозку леса по лежневкам и застал лучковую пилу, а уже досыта нагляделся и на могучие трелевочные трактора, и на ленточные пилы. А война? Нет, Кирпикову было что рассказать. Но рассказать было некому. А раз некому, могло пропасть. Записать не получалось. „Грамотешку бы мне“, – повторял он и наконец нашел занятие: сел учиться.

Книг в доме было немного, остались от ребят в основном учебники. „Собачьи“ книги – „Каштанка“ и „Муму“ – Кирпикову не понравились: он не верил, что Герасиму обязательно надо было топить Муму. Ведь он же все равно уходил в деревню. Взял бы с собой, а там-то кто бы ее тронул? Также и в „Каштанке“ хотелось поворота сюжета: уж очень фашистская забава была у сына столяра – привязывать мясо на нитку, давать глотать, а потом тянуть обратно. И к этому уходить от хорошего человека? Или уж судьба такая: не угодив хозяину – быть утопленным, а угодив – бежать от него?

Но в руки попала „Занимательная математика“. И на ней Кирпиков застрял. И застрял именно на картинке: в разинутый рот великана входит состав, везущий продукты, съедаемые одним человеком в течение жизни. Цифры приводились ошеломляющие. Приходилось верить, хотя вряд ли Кирпиков съел столько тонн сладостей и фруктов, сколько называлось в книге. По картошке, может, и перевыполнил, но это же было в среднем на среднего человека.

Кирпиков не хотел бы, чтоб труд его и результаты труда, которые, в общем, сводились к питанию и одежде, были только в этом питании и одежде. Физический труд означал большее – он был радостью; когда он не давал радости, превращался в тягостную необходимость. Любой труд Кирпиков делал добросовестно, иначе не мог. При его сноровке и смекалке Кирпиков мог бы рассчитывать в жизни на что-то большее, но нужно было учиться, а было не до учебы. Он крепко следовал рассуждению, что если все будут ученые, то кто же будет ученых кормить? Кирпиков знал, что жил честно, а значит, хорошо, но если бы спросили, желает ли он такой жизни детям, он ответил бы: нет. Потому и выучил. И сверстники его учили детей,

а те, подумал он с усмешкой, воротили морды от родителей. Но это другой вопрос. Ведь все-таки учили. Страдали, что некому будет на земле работать, но время двигалось, урожаи убивались, и длинные составы с продовольствием шли в громадный рот среднестатистического человека. Помогли выученные сыновья – взамен себя послали на землю машины. Изнашивались они быстрее человека, но человек успевал сделать следующую машину. Уважение к машине заменило радость ручного труда, ничтожного в сравнении с машинным. Чего теперь жалеть серп, и косу, и лошадку с сохой, и топор дровосека. И уже пахарей и дровосеков в прежнем тысячелетнем виде можно будет скоро увидеть только в кино, и легко представить, как на них посмотрит Маша. Как на туземцев. А еще сто лет пройдет – кто объяснит? Какой труд приходил на землю во все века, что было на ней, матушке, до железных машин? Не зря же сейчас любую старину тащат в музей. Вот куда надо завещать сохи и прялки, зачем они детям, куда они с ними в своих квартирах? Но главное в большем – соху-то и прялку сохранить легче всего, но ведь при них человек был, о чем-то думал, при них не день, не два – жизнь проходила.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.